

# НА ДВА ГОЛОСА



## МАРИЯ ВИШИНА

Родилась в 1996 году в Туле. Оноччила факультет русской филологии и документо-ведения Тульского государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого, защитила магистерскую диссертацию. Работает в Тульской

областной детской библиотеке. Участница литературных смен форума «Таврида» (2019, 2020), семинара для молодых прозаиков «Отцы и дети» (2021), по результатам которого рассказы опубликованы в коллективном сборнике «Свой голос». Победитель конкурса рассказов «Письмо

писателю», организованного журналом «Юность» и порталом «Хороший текст». Один из авторов и редактор библиотечного проекта «Аристарх и Мардарий», который включает альманах молодых тульских поэтов и прозаиков и канал подкастов.

*А та, кого мы музыкой зовем  
За неменьем лучшего названья,  
Спасет ли нас.*

Анна Ахматова. Энума элиш

Когда наверху занималась первая заря и все только народилось на свет; когда румяное небо ласкало море жаром двух солнц; когда предвечные духи славили творение нового мира, и охотно рядились в его одежды, и плясали на его холмах, – тогда явился вместе с остальными дух музыки и сильнее прочих полюбил этот мир. Полюбил он также принимать облик странника, что ростом выше гор, и бродить от края до края земли. Над раздольной степью и над тенистым лесом, над прибрежными тростниками и над ледяными перевалами пела его свирель. Эхом откликались ущелья, вился вокруг птичий свист, а ветер вмиг разносил отголоски на все четыре стороны. Воздух наполнился звуком.

Из этого звука, точно из золотого руна, люди пряли звонкие нити песен. Были те песни о смехе и шуме пиров, о молодости, не знающей увядания, и смерти, приходящей подобно сну. Тот, кто слышал их, не ведал с той поры ни слабости, ни страха. И после того как последняя песня затихла, память о ней долго хранилась в сердцах и хранила их от тоски.

Но зазвучали иные напевы, иначе заиграла свирель. Всклигнули, зарыдали голоса: жалобные и тре-

бовательные, громкие и нестройные, – а им в ответ полилась серебристая колыбельная. Уже не вечная юность – вековечное детство тянуло свою ноту, и срывалось на крик, и не слушало утешений. Сотню лет не смолкал плач, но с годами его заглушили визг и вой, и дух музыки наконец разразился громовым раскатом. Отзвуки его и сейчас живут в горных недрах, где текут строптивые и быстрые подземные ручьи.

И вновь изменились песни. Теперь их наполнил медный звон: бряцало оружие, гремели доспехи, перекликались горны. От этих песен забывался вкус хлеба и солоно становилось во рту. Зато тело наливалось силой, такой, что камни крошились в руках, – только не было в ней ни покоя, ни радости. Потому все яростнее надрывались певцы, а свирель, уступая, вторила им все тише. Но когда весь гнев обратился хрипом, слабая мелодия одержала верх.

И медный звук, усмиранный, стал другим, и в нем воскресли на мгновение слова золотых лет. Снова были смех, и шум пиров, и праздность, и изобилие – но сквозь них слышались надгробные причитания и гул войны. Снова рождались героини, не знающие страха, – но лишь затем, чтобы найти смерть в чужих краях. Вместе с ними раз за разом гибла свирель и, оплавав последнего, совсем замолчала.

Тогда выполз на свет железный скрежет, будто кто-то двинул створки древних проржавленных во-



Старуха же любую прибыль пускала в дело, и в конце концов весь город оказался у нее в руках.

Зато дом, доставшийся ей от мужа, выглядел нищенски и городу как будто не принадлежал. Светлые, похожие, как братья, сосновые срубы теснились на узких улицах, льнули один к другому – только бы подальше от нелепого, кривоватого строения на отшибе. Издали оно казалось не то сараем с десятком навесных кормушек и голубятен, к которым никогда не подлетали птицы, не то вывернутым наизнанку чуланом – так, что все полки и сундуки лепились к наружным стенам. Внутри дом пронзал длинный коридор – от считавшейся парадной двери до черного хода, ведущего на задворки, где давным-давно ничего не росло. Все левое крыло занимали комнаты, вроде и обжитые, но вечно стылые, темные, с мутными окнами из желтоватого бычьего пузыря. Справа была кухня, а возле – множество кладовок и закутков, о половине которых не знала и сама Старуха.

Наверное, если бы она жила одна – не считая подслеповатой кухарки, приходящей по утрам готовить и смахивать кое-где пыль, – то рано или поздно дом съезжился бы изнутри, скопил все тепло в небольшом углу, отдав остальное на милость плесени и ветра. Но рядом со Старухой вот уже почти семь лет обитало другое существо – нельзя было понять: человек ли, зверь – или, точнее, звереныш. Болтали разное: то ли Старуха лесную нечисть прикормила, то ли сироту подобрала, не из жалости, конечно, а так, по прихоти, – да и забыла, как надоел. Кое-кто даже клялся шепотом, будто ребенка этого – убогого, полудикого, – привел бывший известным волокитой ростовщик, а Старуха пасынка теперь не гонит, чтобы злость срывать. Может, поэтому она придумала свою, злую историю: о том, как нашла в сточной канаве не младенца – крысенюша, уткнувшегося в бок огромной крысы (в городе их отчаялись извести); как передавила и передушила весь гладко-розовый, скулящий выводок и оставила только одного, самого крупного, похожего на уродливого недоноска. Она так и звала мальчишку – Крысиный выкормыш, а после просто – Выкормыш. В городе кличку подхватили, но добавляли осторожно: не Крысиный – Старухин.

Повадки у него, однако, и впрямь были звериные. Сутулый, жмущийся к земле, словно всегда готовый встать на четвереньки, Выкормыш то опасливо крался, то двигался рывками; до дрожи боялся крика; глядел затравленно, исподлобья, пряча лицо за длинными грязными лохмами. Говорить он выучился кое-как, а порой, когда его о чем-нибудь спрашива-

ли, тихо рычал вместо ответа и скалил зубы. В Старухином доме он забивался в липкие от паутины углы, устраивал там из хлама и тряпья укромное логово, на улицах – искал тень погуще или вместе с другими беспризорными шнырял в толпе, где простота застила глаза не хуже дыма. На рынке Выкормыш, вечно полуголодный, быстро наловчился воровать. Подачаек он не брал: в городе всегда находились любители поразвлечься, и особенно остроумным считалось начинить хлеб для попрошайки рыбьей чешуей с костями или живыми гусеницами.

Когда Выкормыш попадался, его били, но Старухе жаловались редко. Хорошо, если она только смеялась и после давала мальчишке несколько оплеух, но могла и требовать с недовольного, как правило, ее должника, лишние проценты – за глупость и назойливость. Почему ее слушали, толком никто не знал: казалось, вместе с медальонами и часами у Старухи оставалось в залоге что-то еще, без чего человек напоминал тряпичную куклу с выпотрошенной соломой или высосанную хорьком яичную скорлупу.

Особенно Старуху забавляло, если Выкормыш зарился на мясо. Готовить его никто бы не стал, поэтому тот окорок, что стащили у болтливого торговца, скорее всего, уже гнил в какой-нибудь яме. Думая сейчас об этом, Старуха почти гордилась своим не то воспитанником, не то дрессированным питомцем, словно бессмысленность его выходов была сродни тому, как глумилась над всеми она сама.

Стоило ей вспомнить о краже, как, непрошенные, явились другие картины этого утра – так за калиткой открывается вид на широкую улицу. Снова вокруг суетился рынок: все бежало, катилось и мельтешило, взвизгивало и бранилось, скулило и стрекотало – хотя на окраине, где шла Старуха, было тихо. Она сворачивала по хлюпающей от грязи дороге – и в то же время расталкивала толпу между прилавками; заглядывала в чужие дворы – и перекладывала, ворошила овощи, чтобы добраться до спрятанной гнильцы; обламывала ветви кустарника на обочине – и сквозь треск различала шуршащие, словно сухая кора, пересуды и шепотки. Только запах над всем плыл один: прела падалица, и попусту созревшие сливы, груши, яблоки душили весь город своей обидой. Этот запах, точно прослойка между коржами, соединял нынешнее и прошедшее, и Старуха заглядывала их без разбору.

Но, как в пироге порой попадается косточка, или горошина перца, или угодившее в тесто насекомое, так и Старуху вдруг что-то заставило вздрогнуть и остановиться. То ли камень продырявил башмак, то ли вспомнился странный разговор. А может, спо-



Когда он понял, что здесь, среди несокрушимо-немых стен, среди незрячих и глухих мужчин, женщин, детей, хватающих руками лучи и песни, среди тучных и тощих, *она* является по первому слову, то согласился остаться в замке и зваться Шутом.

поскольку там устраивают отхожее место, и за обычное дерьмо случаются драки, как за драгоценность. Думаю, сильный, пусть и мерзкий запах привлекает образин так же, как яркий цвет.

– И много там было... блестящих камней? – Голос Барона, самодовольный и тягучий, зазвучал по-новому: алчно, склочно, с завистливым при- свистом.

– Меньше, чем дерьма. – Шут совсем сбился с тона, но, заметив недовольство, поспешил, как прежде, укрыться за чужой манерой: – Прошу меня про- стить, я не уделил этому достаточно внимания, хотя ослы с охотой отвечали на мои расспросы и весьма интересовались обычаями нашей стра- ны. Кажется, в тех беседах я вообще многое пу- тал, потому что нередко вместо нашего уклада описывал самые скверные повадки образин.

Он перевел дыхание. Барон на этот раз тоже мол- чал: или устал, или не понял даже отдельных слов, на которые мог бы ответить. Пора было заканчивать.

– Из-за моего красноречия мне в итоге пришлось покинуть остров. Рассказывая о том, как мы об- ращаемся со скотиной, я упомянул и о холощении молодых животных. Ослы сперва взбеленились, но потом признали, что это отличный способ из- вести надоевших им образин. К несчастью, вне- шне я тогда уже мало чем отличался от них, ведь мой колпак и прочая одежда совсем обветшали. Чтобы избежать печальной участи, – Шут вздох- нул, – я решил вернуться на родину.

В зале стало тихо. Звуки возни за стенами – ка- залось, примолкшие – вновь просочились во все щели, лезли в уши. Нелепость – без ритма, без цели: только глупец к этому времени мог не понять, что сборы ни к чему не приведут.

Наконец Барон спросил:

– И ты впрямь это видел?

– Видел, или слышал, или выдумал – велика ли раз- ница, ваша милость?

– Ску-ука... – Барон зевнул, и Шут, глядя на его влажно-розовый язык, уже знал, что будет ска- зано дальше: – А теперь сыграй.

Следующие мгновения он ненавидел – и ни на что бы не променял. Каждый раз проживал их, как иные проживают часы, снова и снова вспоминая одно и то же. Впрочем, выбирать было не ему.

Шут закрыл глаза и достал из-за пазухи флейту.

...Когда он понял, что здесь, среди несокрушимо- немых стен, среди незрячих и глухих мужчин, жен- щин, детей, хватающих руками лучи и песни, среди тучных и тощих, *она* является по первому слову, то согласился остаться в замке и зваться Шутом. Жить тут было зябко и скучно: непротопленные комнаты, пыльные гобелены, гуляющий по залам, точно сквозняк, ропот, липкая лесть. Пустоты. Что ни тронь – отзовется гулко, голодно, будто полый панцирь. Хищное место, невозможное, как тварь без нутра, – но все же за мрачностью сводов, кишением слуг, необъятным брюхом Барона чувствовался один и тот же непомерный аппетит.

Конечно, *она* могла бы ворваться сюда, ветром, вихрем, все закружить и запутать, смести, смять и выстроить заново, просторно и светло, – но за- чем-то хромала, как нищенка, заговаривала вечный голод то плачем, то шепотом и в конце концов, по- бежденная, затихала. Всякий раз *музыка* умирала – бессмысленно, невыносимо.

И всякий раз из памяти об этом рождалась – нет, еще не нота – тишина перед первой нотой.

...Когда-то он звался Бродягой: для нового дня выбирал новую дорогу, и каждая говорила с ним своим голосом. Гнусавили мостовые порта, жабой сидящего у воды; чавкали осенние тракты; сипели тропы на песчаном предгорье, где под ноги летела желтая пыль. Меж дорог – паузами – задавало ритм бездорожье: немое, непролазное, негаченное. Но среди всех проулков, причалов, околиц, болот, за третьим, или седьмым, или сотым поворотом всегда ждала *она*.

Это походило на охоту за своенравной птицей, единственной в своем роде. Не высматривать – вы- служивать, выслеживать, принаравливаться к по-



гвалта и больше песен, – а впрочем, те, кто ее знал, сомневались, что она отличает одно от другого.

Вокруг же, словно чтобы ей насолить, вслед за проворонившим окорок детиной все говорили о музыке. Полмесяца ждали Барона: сперва как важного гостя, с опаской и любопытством, потом, все больше распаяясь, уже как хозяина, который наконец вернется, закатит пир горой и наведет лучшие порядки. Дошло и до того, что его называли *тем самым духом* и шикали на тех, кто по привычке шутил над баронской неповоротливостью и злым тугоумием, известными всем. Ругались и спорили вообще много, и чаще по мелочам. В собрании как-то подняли на смех дряхлого скорняка, припомнившего сказку о великане-под-холмом, а потом ее же толковали до хрипоты. Но все это без злобы и как бы не всерьез, от избытка сил и детского желания переспрашивать: а будет ли то, что обещано, а хорошо ли оно будет, а скоро ли.

Хотя такие разговоры вызывали у Старухи оскмину, показывать недовольство она не спешила: точно зверь, нутром чужла неладное и выжидала. Иногда непонятное чувство притуплялось, и на смену приходило недоумение: бояться? ей? В хорошие дни она почти решалась в следующий раз прервать, пресечь, прекратить – но, когда доходило до дела, осторожность опять брала верх.

Сегодня был хороший день, и, хлебая жидкую кашу, Старуха едва ли не с потехой вспоминала все странности, заполнившие город с недавнего времени, – так по вечерам приятно перебирать в уме сложные, но удачные сделки. Все эти волнения, и предчувствия, и надежды, и сны скоро, уж конечно, должны закончиться, должны забыться и омертветь – закаменеть где-то в недрах памяти. На одной ярмарке Старуха как-то заметила такие – будто прямоком из ночных видений – ракушки и булыжники причудливой формы, и человек в сером балахоне рассказывал тогда, что камни, желая походить на живых существ, растут и меняются внутри земли. Мертвые еще до рождения и сразу же похороненные, они никому не доставляли хлопот и разве что потрескивали тихонько, ворочаясь в своих тесных ямках. Старуха мысленно разложила то, что ей досаждало, по таким ямкам – пусть себе там звенит, – и представила, что она тоже – камень, и вокруг нее толща горы, а на душе спокойно и беспробудно, словно все в мире расставлено по полкам, помечено и заперто, и нет этих бесконечных просторов, которые так много сулят, по которым так больно идти...

Что-то хлопнуло, стукнуло, свеча на столе погасла, и желтый свет сменился белым. Старуха за-

жмурилась и почувствовала, как невесть откуда взявшийся ветер пробрался ей под одежду, а поток запахов разогнал прогорклое, застоявшееся тепло комнаты. Время как будто провалилось в яму и, пытаясь выбраться, каждый раз соскальзывало обратно, к первому мгновению, – и следом за ним металась, скользили, возвращались к одному и тому же мысли: оно, оно! Выронив ложку, Старуха сжала кулаки – так, что ногти вонзились в ладонь, – и почти телесным усилием заставила себя не думать и не чувствовать; открыла глаза.

Бычий пузырь, натянутый на окне, лопнул, и сквозь дыру с неровными, завернувшимися, трепещущими краями видно было, как по дороге, поднимая пыль, удирают двое мальчишек, похожих друг на друга и еще на десяток оборванцев, как они добегают до ближайших домов, перемахивают через заборы и исчезают в каком-то проулке. Старуха вскочила – скрипнул отодвинутый стул – и бросилась во двор. Мельком она успела заметить большой камень на полу, и то ли от игры расстроенных, вспугнутых чувств, то ли от быстрого движения ей показалось, что он вдруг завертелся на месте, пища и хихикая, и в его зубчатых гранях проступили крысиные черты.

На улице уже, конечно, было пусто. Даже пыль почти осела, только кое-где слабый ветерок гнал к обочине, распушал и развеивал светлые полупрозрачные облачка. Старуха огляделась. Вокруг все замерло, как на рисунке, мирно и плоско: низкое небо, затянутое серым, по бокам румянилось, точно поспевающее яблоко; бурьян возле изгороди перекрещивал зеленые, серые и песочно-желтые стебли; серым же отливала растрескавшаяся перед крыльцом земля. Все цвета тихие, грязноватые, безопасные: от них не захватывало дух, сквозь них не брезжило ничего далекого и незнакомого. И все-таки Старуха не могла сойти с места и, пытаясь ли унять тревогу, рассчитывая ли в конце концов застать кого-то врасплох, раз за разом поворачивала голову то вправо, то влево. Одновременно, не полагаясь лишь на глаза, она по-животному жадно втягивала ноздрями воздух – и наконец поймала, почувствовала невозможный здесь запах. Так, должно быть, пахло в саду, которого поблизости отродясь не было, – свежо и сладко.

В надежде найти простую разгадку – брошенную кем-нибудь сливу, пробившийся меж сорняков росток мяты – Старуха завернула за угол дома и обшарила взглядом наполовину сухие кусты ракиты. Но стоило ей раздвинуть длинные плети, как что-то темное, рычащее выскочило из зарослей, бросилось

прочь и, запнувшись о прутья, распласталось прямо перед ее ботинками. Это был Выкормыш.

Старуха быстро поставила ногу ему на спину, придавила к земле. Довольно долго он извивался, сучил руками, но потом затих, смирился, только в горле у него продолжало клокотать. Тогда она наклонилась, схватила его за сальные волосы и подняла. Выкормыш больше не пытался сбежать: втянув голову в плечи, он тарашился на Старуху – не то заискивающе, не то злорадно. Лицо его от лба до подбородка исчертили грязные потеки, и потому выражение никак не получалось уловить. Садом больше не пахло, вместо этого несло потом, плесенью и почему-то рыбой.

Взбешенная из-за напрасного страха, выбитая из колен, Старуха сперва просто молчала и иногда встряхивала Выкормыша, уцепившись за воротник. Наконец она вспомнила, с чего все началось, и прошипела:

– Кто это был?

Выкормыш ослабился. Свободной рукой Старуха ударила его по щеке.

– Я знаю, что ты видел. Кто это был?

Тихо.

– Кто здесь был?! – Она повысила голос, почти перейдя на крик.

Выкормыш затрясся, замотал головой и пробурчал:

– Высоко. Бом. Птица.

Старуха кивнула, разжала пальцы, и он тут же рванул в дом.

О том, что дела у часовщика идут плохо, она, конечно, знала. В прошлом году он взял большую ссуду, а с месяц назад пришел за второй, но едва ли это могло помочь. Когда-то умелый мастер, часовщик за полгода то ли мало-помалу забыл свое искусство, то ли подслеповат стал, но все часы в городе и, по слухам, даже те, что он чинил у Барона в замке, с каждым днем отставали сильнее и сильнее, сколько бы их ни переводили. Теперь на башне ратуши било шесть, когда солнце стояло в зените, и механический петух, сидящий над циферблатом, – он-то и поражал Выкормыша настолько, что тот иначе не представлял себе часы, – взмахивал крыльями лениво и неуверенно. Часовщик же часто наведывался в кабак и, захмелев, ворчал себе под нос, что это проклятое время ему назло бежит быстрее и быстрее.

Старуха ссудила его деньгами и в первый, и во второй раз. Как сыр кладут к дальней стенке глиняной ловушки, чтобы крыса, протискиваясь за ним, целиком забралась внутрь и сама перегрызла нить, удерживающую пластину над лазом, так и человека надо окружить долгом, прежде чем требовать про-

цент. Тогда одна добыча потянет за собой другую. И вместе со старым облезлым часовщиком в капкан попались тощие, нахальные, полные жизни погодки – его сыновья. Старуха могла забрать у их семьи все до последней краюхи хлеба, но пока не спешила. До сегодняшнего утра.

Шагая к часовой мастерской, она кипела от злости: камень, брошенный в ее окно, был дерзостью, на какую в этом городе уже давно никто не осмеливался, тем более – никто из должников. Старухе казалось, что из рук у нее вдруг выдернули нити, которые она так долго и старательно натягивала: от улицы к улице, от дома к дому, от просителя к поручителю – сметывая, связывая, сдерживая. И виновато во всем то странное, неуловимое новое, что витало в воздухе в последнее время.

Между тем ветер усилился, на небе дрогнули облачные веки, и солнечный глаз уставился прямо на Старуху, вынуждая опускать лицо и щуриться. По дороге впереди бежала тень, и, хотя это, очевидно, была ее, Старухина тень, что-то в ней не давало мыслям покоя, точно раньше, с невозможным запахом, – что-то настолько же смутное и притом несомненное. Но в этот раз догадка опять и опять ускользала: даже через платок затылок припекало нещадно – и думалось тяжело.

Ближе к ратушной площади улицу захлестнули гомон и суета: все распахивали двери, куда-то бежали, обгоняя друг друга, что-то кричали и прятали головы. Старуха остановилась. Еще до того, как она посмотрела вверх, один вид людей, похожих на перевернутые дорожные указатели, заставил ее оглянуться и все понять. У ног каждого лежало две тени, а небо наконец избавилось от своей кривизны.

Мимо, почему-то и не покосившись на второе солнце, промчался молодой подмастерье каменщика. Он случайно толкнул Старуху в плечо, но только на миг запнулся и бросил:

– Там, у «Великана»!

Трактир «Спящий великан» находился рядом, за углом. На вывеске, отдавая дань местной легенде, изображали носатого толстяка: он раскинулся на спине и открыл несуразно большой рот; на подбородок стекали струйки слюны, точно великану снился жирный тушеный кролик. Обычно до обеда народ возле трактира не собирался – разве что нищие, которым служанка, пока мела ступени, иногда выносила остатки вчерашней еды, – но сегодня тут столпилась добрая четверть города. Старухе пришлось хорошенько поработать локтями, чтобы попасть в первый ряд.

Представление, судя по всему, началось недавно. На свободном участке мостовой замерла, изредка виляя хвостом, единственная непарная тень, напоминающая крупную полурыбу-полузмею с крыльями. Самого существа нигде видно не было; шептались, будто оно повисло высоко-высоко в небе, громадное, но прозрачное, как мушиное крыло. Вокруг тени приплясывал глухонемой побирушка, известный фиглярскими замашками и тем, что ради подачки не гнушался выкидывать самые унижительные трюки: прогуливаться голышом по рынку, вылизывать кому-нибудь сапоги. Сейчас он делал вид, что ловит непонятную тварь: широко расставлял руки, шевелил пальцами, приседал – и неожиданно прыгал в сторону, обхватывал пустое место и корчил такие рожи, словно вот-вот помрет от натуги. При этом он, конечно, не забывал оборачиваться и проверять: одобряют? смеются? Но зрители отзывались скупно.

Во время одной из таких проверок побирушка вдруг споткнулся и повалился на бок, прямо в тень. Та встрепенулась, на мгновение обвила его хвостом – и исчезла. Те, кто стоял ближе, отпрянули, но сзади еще не разобрали, что случилось, и продолжали напирать. Старуху увлекли вправо, кто-то вцепился ей в рукав – да так, что ткань с треском разошлась, – кто-то потянул за подол, наступил на ноги. Кажется, она сама впечатала деревянную подошву в живот какому-то упавшему недотепе: снизу охнули, застонали, заголосили. Давка навалилась всей тушей, смяла ряды, сдавила ребра – и так же внезапно откатилась, оставив синяки и растерянность: улица была широка, и толпа, из-за путаницы слепившаяся в ком, под напором изнутри брызнула в стороны, рассыпалась по соседним лавкам и перекресткам.

В суматохе никто не обратил внимания, что побирушка лежит как упал, не шевелясь, только губы у него дрожат и из глаз течет: безостановочно, беззвучно, будто не слезы даже – вода. Чуть погодя это заметили последние зеваки – самые упорные, из тех, кто и при пожаре надеется на продолжение, – но, отпустив шутку-другую, списали все на очередное дурачество и потеряли интерес. В конце концов трактирщику, который уже несколько раз высовывался из дверей, надоела эта картина; он спустился и легонько пнул побирушку в спину, а после, когда тот и не дернулся, хлестнул его снятым с пояса полотенцем. Ничего не изменилось.

Старуха следила за часовщиком – тот затесался между прочими бездельниками и ротозеями: без

сыновой, зато уже навеселе, – и потому видела, как трактирщик замахнулся вновь, но кто-то незаметно перехватил его руку. Чужаки в городе были не сказать чтобы редкостью, но все же событием, а у этого вдобавок под обычным плащом цвета грязи топорщился желто-зеленый шутовской костюм. Старуха нахмурилась, насторожилась: единственный шут, о котором она слышала, развлекал Барона и мог явиться сюда лишь вместе с ним.

Ее опасения подтвердил трактирщик, не так давно служивший на замковой кухне: поняв, кто его остановил, он оборвал ругань на полуслове, весь – от вытянутых губ до присогнутых коленей – округлился, раздумялся, будто пышка в печи, заулыбался:

– Ну наконец-то!

Даже не взглянув на него, шут присел на корточки, подложил ладонь побирушке под щеку и принялся то ли что-то нашептывать, то ли тихо напевать. Вокруг рассмеялись:

– Эй, ты, да он же глухой как пень!

Шут не ответил. Старуха подошла ближе и попыталась различить, что он там бормочет, но, кроме смутно знакомого мотива, ничего не расслышала. Память тоже подсовывала ей какую-то ерунду: как стучит, рассыпаясь по полу, сухой горох; как пахнет чабрец; как вода падает с высоты, и брызги висят в воздухе, точно рой маленьких перламутровых стрекоз, и грохот, от которого хочется зажать уши и плакать, становится урчанием большого зверя, сворачивается у ног, ластится, но столько жара, столько неба – как страшно, больно, невыносимо...

Старуху бросило в пот. Отшатнувшись, едва переводя дыхание, она с ненавистью смотрела, как побирушка медленно поднимается, а шут поддерживает его за плечи. Камень, похожий на крысу, испоганенное окно, часовщик – все это стало мелким, игрушечным, а настоящим врагом были желто-зеленые ромбы, ухмылявшиеся втихомолку из-под серого сукна, – подлость и глупость под маской простоты.

Тут трактирщик, уловив мгновение, подлез к шуту с вопросом:

– Ну я комнаты-то приготовлю?

Старуха вновь, теперь еще яснее, почувствовала, как рвутся, режут ей пальцы нити, оплетающие город, и быстро сказала:

– Думаю, он остановится у меня.

У трактирщика вытянулось лицо, но, не теряя надежды, он наседавал:

– А остальные? Скоро ждать-то?

И тогда шут произнес слова, от которых нити замерли и Старухе почудилось, будто небо наконец-то смежило веки и зарядил скучный и правильный осенний дождь:

– Я один.

#### 4.

Музыка была повсюду.

Городишко набух звуком, как почка по весне, еще немного – и распустится. Земля под ногами пела: низко, протяжно, чуть глуховато со сна. Что ни шаг, то словно по живому, и ступать приходилось как в танце. Легко. Мягко. Слушая ритм.

Воздух наполнился звоном. В паузах между хлопками, криками, шарканьем, щebetом, между всплесками шумной и нестройной волны – того гляди накроет, понесет, – этот звон, омытый, выныривал из самых глубин и становился теплом и светом. Флейта грелась, томилась за пазухой: подыграть бы, рассказать бы всем – но ликование только начиналось и времени было вдоволь.

Женщина впереди не то чтобы ничего не слышала – скорее не слушала, да так усердно, что рядом с ней все затихало. Она ему не обрадовалась – это Шут понял сразу, но все-таки пошел следом: из любопытства или озорства. Какая-то вся изломанная, костлявая, женщина до смешного напоминала клюку, если бы ту замотали в старые бесцветные тряпки. Он забавлялся, представляя, как деловито клацают ее шаги: клюк-клак, клюк-клак, – все не в такт, зато важно до смерти. Будто и впрямь не человек, а ходячая палка с гонором.

Вокруг на Клюку смотрели с опаской. Зябко поводили плечами, брали на тон ниже: веселясь ли, болтая, бранясь. Так и подмывало выкинуть какую-нибудь шутку: подхватить Клюку на руки, закружить или подставить подножку – хоть как-то вклинить, ослабить невидимый гнет. Но пока было слишком рано. Темп следовало прибавлять не торопясь.

Жила Клюка в местечке под стать. Украина: глухая, тихая, даже не сонная – оцепенелая. Вместо дома – нелепый сарай, нагромождение собачьих клеток. Снаружи, откуда ни взгляни, мерзко, точно выставили напоказ больное тело с наростами; внутри, едва зайдешь, темно и затхло, даром что псиной не пахнет. Не человеческое жилье.

Бросить бы котомку под скамью да уйти, но Клюка все стояла рядом, дышала в спину, словно чего-то ждала. Шут потянулся, обошел комнату раз, другой, наконец рассмеялся про себя – вот же, совсем забыл, не догадался! – и выудил из поясной сумки

монету. Клюка быстро схватила ее, попробовала на вес, зачем-то понюхала, не сводя глаз с Шута, и облизнула губы. Потом проскрипела:

– Еда отдельно, – и все-таки убралась.

Монеты было не жаль, хотя, конечно, дом – навязанный, неприятный – ее не стоил. Ну и пусть. Сейчас любые заботы казались ерундой – мелким мусором, галькой на линии прибоя. Кто станет думать об этом, когда море идет сюда.

Шут размял плечи. Тело с непривычки ломило, двое суток в пути и сон урывками давали о себе знать. Лихорадочная, сбивчивая мелодия: ночь, день, опять ночь – все мельком. Разбуженная дорога маялась пролежнями-колеями, ворочалась, ворчала, в ушах звенело, а спешка не давала вздохнуть. От самых ворот рядом рыскало что-то голодное, мысли неслись по кругу: прочь, прочь, скорее – и не смотреть назад. Он вырвался, или, точнее, сбежал, только радость точили сомнения. Музыка не вела его и не звала на свое торжество.

Но и непрошеным – он явился вовремя. По крайней мере тот бедолага еще поковыляет по здешним улицам, среди звонной зыби, помычит, почмокает, помыкается с недоношенными звуками – и, может, в следующий раз не сломается, вытерпит до конца. Музыка – Шут помнил – бывала страшно горячей, особенно когда ни слух, ни голос, ни струна не разбивали ее, подобно волнорезам, не делали слышимой и выносимой. Тогда она будто бы не приходила извне, а захлестывала изнутри, заполняла грудь жидким светом. И хотелось плакать, смеяться, отталкиваться от земли – и тут же ползать по ней, корчиться, как если бы все грязное и стыдное оказывалось на виду, вытапливалось из костей, вскипало под кожей. Испарялось. Сгорало дотла. Стряхнуть прошлое, точно прах с ног, стать огненным, легким, летучим в этот миг было все равно что натянуть шитую по руке перчатку или после скитаний шемаще наново открывать родные места.

За стенкой что-то заскреблось, и Шут осторожно выглянул в коридор. Глаза привыкли к полутьме, но понять, что за тварь царапает половицу у дальней двери, получилось не сразу. Не то ярмарочная шавка в тряпье, не то ребенок, похожий на зверька. На ум пришла история, сочиненная для Барона: об ослином острове и недолюдях, бывших там вместо скотины. Спроси кто о детенышах образин, Шут описал бы их так.

Ребенок – все-таки ребенок – тоже заметил его и юркнул в какой-то проход. Тем лучше: задерживаться не хотелось. И без того уже этот дом прирос к нему пивкой: даже на улице спину холодила

Задерживаться не хотелось. И без того уже этот дом присосался пиявкой: даже на улице спину холодила липкая мерзость, не отпускала, не давала сосредоточиться, – хоть ищи теперь другой ночлег или спи под открытым небом. Но до вечера было далеко, воздух пах яблоками, и скоро неприятное чувство ушло.

липкая мерзость, не отпускала, не давала сосредоточиться, – хоть ищи теперь другой ночлег или спи под открытым небом. Но до вечера было далеко, воздух пах яблоками, и скоро неприятное чувство ушло. Только затылок еще покалывало – будто следил кто-то.

Город вокруг галдел – громко и глупо. Близкая музыка, лишние тени – о них говорили как о диковинке, трехногом циркаче или рыбе с чешуей из колец. Нелепые, вздорные толки: если прислушаться, настоящее чудо всегда звучало как последний аккорд. Правильно. Просто.

Так звучал новый свет. И о нем нужно было рассказать.

На углу возле маленькой лавки – дверь распахнута, на вывеске мак – стояла хорошенькая цветочница. Нетерпеливый носок туфли, красные ленты, подрагивающие уголки губ – вся точно скрипка: только и ждет сольной партии. С такой, даже если ее разбирает любопытство, надо заговаривать первым.

– Солнечно сегодня.

– Как и вчера. – Она недоуменно повела бровью и отвернулась, вскинув подбородок.

Шут зашел с другой стороны.

– Товар хорош?

Она рассмеялась:

– А тебе на что? Старуха глянет – все сгниет. Крысам нашим на корм.

– Старуха?

– После нее только в ящик. Но, смотри, не повторяй, тебе в ее доме жить.

Вот как, с клюкой он почти угадал. А слухи тут разлетаются быстро.

– Меня там никто не держит.

Она вдруг поскуичнела, посерела и сказала тускло:

– Вряд ли тебя кто другой пустит. Вот если б ты не один пришел...

– Ты о Бароне?

– А правда, у него целый оркестр? – Ее голос оживился. – Хоть бы одним глазком увидеть.

– Любишь музыку?

– Не знаю. Но это же, верно, так весело! Можно плясать до упаду.

– А хочешь, я тебе сыграю?

– А ты умеешь, что ли? – Она поджала губы и прищурилась.

Флейта сама легла в руку.

...У цветочницы были майские глаза, и вокруг, меж домами и облаками, пеной шипя на осенней желтизне, вскипала юная, смолисто-клейкая зелень. Тягучими, низкими нотами стекали по листовенному шороху капли апельсинов, а на тон выше дрожали трелями, реяли на ветру белые цветы. Мелодия сплеталась, как венок: василек, земляника, роза, лютик, ромашка – и пронзительный, прорастающий из нутра, готовый слететь с губ барвинок...

– Хватит!

Видение исчезло.

Цветочница вжалась в стену, смотрела испуганно. В волосах запутались разноцветные лепестки.

Невозможно.

– Что ты сделал?!

Правильно.

Она закашлялась, засмеялась, всхлипнула.

Просто.

– Нет, не бойся! – Шут, придя в себя, заглянул ей в глаза, дотронулся до запястья. – Все хорошо. Это просто... музыка.

– Откуда это взялось?! – Трясушимися пальцами она сняла с плеча длинный стебель, потеряла шею. – Почему я... это... будто водой окатили!

Он улыбнулся:

– Холодно и мокро?

– Не-ет... – Ее губы тоже дрогнули. – Но аж дыхание перехватывает.

Чуть помолчав, она вывернулась, отстранилась и сказала с расстановкой:

– Я поняла. Это все штуки, которыми ты Барона занимал. Верно?

Шут не ответил. Барабанное, оглушающее удивление сменила струнная радость: музыка, *его* музыка, должна была сбыться – и когда, если не сейчас. Теперь казалось, он давно это знал.

– Сыграть еще?

Цветочница кивнула и задержала вдох.

...Зазор был едва заметен, сквозняк, просвет, но, стоило потянуться к нему – не рукой, не взглядом, одним вниманием, – как заколыхались, пошли складками небо, и земля, и море, и все, что в них. Не вода, не воздух, не камень – только тканое покрывало, а под ним – вода, и воздух, и камень, но яснее и ярче, живей. Все – музыка. Все – хвала.

Так хотелось немедля отдернуть завесу, что пальцы сбились и прокралась фальшивая нота – тревога и резь в глазах. Пауза – пришлось отступить. Тогда, больше не пытаясь проникнуть за край, он осторожным звуком коснулся поверхности – и та откликнулась и смялась, как салфетка. Легко сложились новые фигуры: облако, мотылек, огнехвостая птица – все, что бы он ни представил, виданное и невиданное...

Шут играл, цветочница смеялась и ловила слетевшихся бражников. Вокруг собрался народ, и все слушали флейту и глазели на чудеса: сперва насупившись, потом – подзадоривая.

Шут играл, здесь, и где-то еще, и еще где-то, и город становился мягким, как тесто, и музыка месила его на новый лад.

Шут играл, пока сверху не хлестнуло холодными и частыми струями. Под дождем он вернулся в дом Ключки, доел остатки сыра из котомки, устроился на узкой скамье. Когда его уже почти сморило, в сон вдруг ворвался рокот и под полом, кажется, встрепенулась земля.

На следующий день опять прояснело. Непогода окупилась с лихвой: за ночь второе солнце приблизилось, разгорелось, и свет лился густой, ровно мед. Звуки в нем медлили и красовались, нет, раскрывались, как бутоны, – хочешь, трогай, хочешь, пробуй на вкус. Кислый, пахнущий яблоками скрип телеги. Золотистый, щекотный смех.

Иногда мелькали тени – или, может быть, эхо. Зазевайся – и скользя рядом, накроет, крылом ли, хвостом, и сердце вдруг защежит, и вспомнится, как сквозь дыры в повозку забирались лучи, шупали мешковину, а на ухабах били по пяткам повешенной на раме марионетки – давным-давно, на первой беговой дороге, с горластыми и не знающими прошлого

комедиантами. Шут не хотел к этому возвращаться, не мог подхватить мотив – но тем сильнее ждал его разрешения. Остальные же в городе шарахались от таких теней, как от огня.

После полудня стало жарко, словно у большого костра. Шут, разомлев, лежал в траве на чьих-то задворках и жевал сухие стебли мятлика. За забором, щелистым и низким, уже третью соломинку шепелявили и переругивались, но он делал вид, будто не замечает. Игра кошки с мышкой: прикрой глаза, притворись задремавшим – и сквозь ресницы и неплотно пригнанные доски покажется любопытное веснушчатое лицо.

Дождавшись, когда невидимая возня перерастет в спор, Шут одним движением поднялся и перемахнул на другую сторону. Стайка детей лет восьми-девяти замерла, застигнутая врасплох: двое мальчишек растянулись на животе у забора, двое поодаль сидели на корточках, а единственная девчонка, явная заводила, чуть привстала с колен и раскрыла рот, не докончив фразы. Она заметно сердилась, и оборванное слово – «...сите» – свисало у нее из рта, точно струйка слюны.

Еще миг – и все пятеро вскочили и порскнули за угол, ни дать ни взять кролики или куропатки. Шут расхохотался: в голове будто хмель шумел. В ответ взвизгнули, и это тоже было смешно и хорошо. Почти так же хорошо, как видеть себя сейчас со стороны: героем из легенды, волшебником – большим, добрым и все-таки капельку страшным – в большом, добром и сказочно опасном мире. Хотелось приосаниться, вдохнуть полной грудью, и даже немного щипало в носу.

Из-за угла, нахохлившись и надув губы, осторожно высунулась девчонка. Зыркнула нахально, просеменила вперед, обернулась и поманила остальных. Тут же из ниоткуда вынырнули двое рыжих – на вид погодки, – выступил, отфыркиваясь и оправляясь, маленький чистюля, а за его спиной, не отставая, вертелся хлюпик с косящим взглядом и щербатой улыбкой.

На удивление, первым затараторил один из братьев – тот, что постарше:

– А вы можете, как вчера, ну, птицы, огни и все такое?

Пять пар глаз уставились на Шута с надеждой. Он ухмыльнулся:

– Вам, стало быть, понравилось?

Дети закивали.

– И чего бы вам хотелось теперь?

Мальчишки тут же выпалили наперебой:

– Огненный фонтан!

- Разноцветный!
- Желтую жужелицу!
- Пузырей, как от мыльного корня, только чтоб не лопались!

Девчонка помолчала, насупилась, шмыгнула носом и деловито спросила:

- А все сразу можете?
- Такая прямога умиляла, и Шута снова разобрал смех.

– И зачем бы мне это делать?  
Лица пятерки вытянулись, но чистюля быстро нашелся:

- А у меня монета есть.
- А у меня... – Младший брат подхватил было, но заппулся, сморщился, сглотнул. Наконец решился и отодвинул ворот рубахи: – Вот.

На тонкой замызанной веревке у него на шее висел куриный бог: розово-серый, гладкий, с дырочкой аккурат посередине – наверняка предмет гордости и зависти. А рядом, пониже ключицы, темнела россыпь синяков.

Шут нахмурился. Мальчишка понял это по-своему, снял оберег и протянул на раскрытой ладони.

- Не нужно. – Шут остановил его и показал на синяки: – Откуда это?

Пока тот с облегчением надевал веревку обратно, девчонка ответила за него:

- Да это их папаша, как выпьет, руки распускает почем зря.

Братья дружно вскинулись:

- Оставь, он хороший! Это все Старуха виновата. Он после второй ссуды таким стал.
- И с часами, скажете, она подстроила?
- А кто ее знает, может, и так! Но уж мы-то ей не спустим. – Тут они переглянулись и смущенно замолчали.

Шут вспомнил гнет, который чувствовал рядом с Ключкой, и проговорил вкрадчиво и серьезно:

- И на вашу Старуху управа найдется.
- Я слышал, – влез вдруг хлюпик, – што она подмениш. Как в детстве в лешу жаплутала, так и вще, другая вернулашь. И ш тех пор...
- Да, точно! – перебил чистюля. – И отродье, что с ней живет, тоже из этих.

Девчонка пожала плечами и хмыкнула:

- Ерунда какая. Все знают, что Выкормыш – сын старого ростовщика и крысиной королевы.

Пока они спорили, погодки подскочили к Шуту и теперь дергали его за рукава:

- Но вы нам сыграете, да? И фокусы, как в тот раз, покажете?
- Сыграю.

Он достал флейту, но, помедлив, так и не поднес ее к губам. Повернулся к девчонке:

- Так значит, с Ключ... со Старухой пасынок живет? Мелкий такой, грязный, диковатый?

– Ну да. – Девчонке явно польстило, что обратились к ней. – Старухин выкормыш. Мне как-то щеку поцарапал, так с месяц заживало. Тот еще крысеныш, одним словом, чтоб всем этим тварям пусто было.

По ее глазам, нарочито невинным, стало ясно, что царапался он неспроста, и Шута кольнула брезгливая жалость. Звереныш – и то правда. Он как будто мелькал вчера в толпе, крался по пятам от самого дома – на краю зрения, по краю мыслей, – но близко не подходил и в памяти не задерживался. Вот и хорошо: играть перед таким было бы то же самое, что перед свиньей или Бароном, – все равно как пытаться петь во весь голос, уткнувшись в мягкий, трепыхающийся живот. С глухими – и теми проще.

Вдобавок эти крысы... Их вроде поминала цветочница, да и сам Шут приметил хвост-другой. Но додумать не получилось: дети ждали. Переминались с ноги на ногу, подпрыгивали от нетерпения – обычные, озорные, отзывчивые дети. И рядом с ними мелодия возникала сама собой.

...И в каждом дремала искра – колокольчик ли, бубенец. И грудь распахивалась навстречу зову, как ветхий плащ, и ветер раздувал пламя, разводил трезвон. Хором вспыхивали глгучие языки, сливались в огненный фонтан, струи скручивались, взлетали к небу – третьим, четвертым, несчетным солнцем, и пели на разные голоса, и танцевали, и выстраивались вокруг самого большого – того, что было первым и явилось вторым.

А внизу дрожала глина, необоженная, податливая. Тени от всполохов плясали на ней, рождали смутные образы: сад с перекрестьем веток, жужелица, скрестившая лапки, темный холм и равнины окрест. Глина охала, сминалась, повинуюсь флейте; тоном выше – вылепишь тонкое: пузыри, перья, порей; тоном ниже – просыплешь шорохи, как зерно, и за ним – с перебором, крысыим топотом пальцев, – потянутся морды, усы и хвосты. Лови их, гони, со свистом и писком, по склону, до всплеска, до чавка – вниз. Глина в глину.

Но вдруг – будто воздуха не хватило на фразу – в серой лавине мигнул и погас желтый блик. Запертый звук. Безымянный. Сколько ни играй – не пробиться: лепкое становились липким, наваливалось слепо, отказывалось размыкаться и отпускать. С досады хотелось надавить сильнее, громче, хотелось взметнуть, взрезать, взгреть, и...

Уши заложило от визга. Шут вздрогнул, выронил флейту, сморгнул.

В пяти шагах, возле кучи сухих листьев, катался в пыли и верещал ребенок – нет, кажется, Выкормыш. Спустя миг завопили и пятеро новых знакомых, и какая-то женщина, вышедшая из дома напротив. Перед глазами, как после долгого взгляда на солнце, плавали цветные пятна, и сперва Шут не понял, куда все смотрят, ему только почудилось, будто вдоль улицы, вниз по холму, стекают серые мохнатые ручейки. Растерянный, он наклонился за флейтой – и тут же пошатнулся, отдернул руку. Из-под ног выскочили и бросились прочь две толстые облезлые крысы.

Скоро, похоже, весь город захлопал дверями, заголосил.

- Смотри, смотри, еще! Так и прут, проклятые!
- Они же все сожрут!
- Дура, они уходят! Уходят!
- Не к добру...
- По ногам, по ногам лезут! Ай!
- Дайте им пройти!

Ручейки тем временем превратились в сплошной поток, и флейта канула в него без следа. Крысы бежали быстро, сосредоточенно, не толкаясь и не толпясь, точно были одним существом. Выкормыш, теперь уже просто поскуливающий, лежал у них на пути, и они карабкались прямо на него, цеплялись за волосы и одежду, сыпались обратно на землю. Вдруг подумалось, что мальчишка-то завизжал первым – но, видно, не из-за крыс, ведь сейчас он даже не пытался встать или отряхнуться. Не выдержав, Шут подавил тошноту, ступил в крысиную реку и поднял его за шиворот. Самых настырных тварей пришлось отшвырнуть за хвосты.

Скоро исход иссяк. В свою очередь улицу запрудили люди: бросившие дела, напуганные, перекрикивающие друг друга. Кто-то пустил слух, что крысы дошли до озера за городской чертой и там утопились. Кто-то вспомнил о тонущих кораблях. Ему возразили, что мы-де, к счастью, на суше, а этим прозорливым гадам туда и дорога. И тут девчонка схватила Шута за локоть и по-детски звонко заявила:

- Это он их прогнал!

На них обернулись. Шут так и не выпустил Выкормыша, и тот под чужими взглядами задержался, завертелся, исхитрился цапнуть его за кисть и дал деру. Чистюля хотел подставить подножку, но опоздал и только плюнул вслед:

- И ты уходи, крысеныш!

А девчонка настаивала:

- Это он, он! Мы рассказали про Старуху и про крысеныша, мы попросили сыграть. И музыка была как солнце, а потом как зерно.

- Да, и я видел!

- И я!

Погодки появились откуда-то из-за спины, и младший довольно протянул Шуту флейту:

- Вот, я подобрал.

Тут же вернулись задор, и легкость, и хмель. И мелодия, родившаяся из детской болтовни, но прозвучавшая так властно, наполнила голос силой:

- Да, это я их прогнал.

По толпе ветром пронесся шепоток. Недоверчивый – возбужденный – трепетный. От свистящего: фокусы, все фокусы, – до гудящего, колокольного: колдун. Шут по наитию вскинул руку с флейтой и, когда все смолкли, заговорил:

- Нет, я солгал вам, это не я увел крыс, это музыка! Один ее отзвук защитил ваши дома и запасы. Через день она явится во всей полноте, и поэтому я пришел сюда: услышать, увидеть. Не бойтесь того, что кажется вам странным: когда готовят праздник, режут розы и топят сахар – но это будущие гирлянды и леденцы.

Поднялся одобрителный гул.

- Музыка, о которой я говорю, – это не зов свирели и не звон струны. Вернее, не только они. Вы можете слышать ее, когда любуетесь закатом, когда учитесь тачать сапоги и открываете закон движения звезд, когда прощаете или просите прощения. Такой музыке не нужны инструменты, они нужны нам – как подпорки для слуха.

Гул стал недоуменным.

- Музыка – это солнце, и без ее тепла и света нельзя жить. Так слушайте, играйте и пойте, потому что солнце наконец вышло из-за облаков!
- Врешь.

Народ расступился. К Шуту, за ухо таща Выкормыша, приблизилась Клюка.

- Все это глупости и разор. Пожар, а не солнце. Вот и мальчишке моему больно сделал. У нас такого не любят. – Фразы она роняла скупно и в паузах будто к чему-то прислушивалась.

- Ему сейчас больно.

- А это чтобы знал, куда не лезть.

Шут поморщился и в упор посмотрел на Клюку. От всего ее облика веяло чем-то мертвым, закаменным. Точь-в-точь статуя, затянута паутиной, лишь губы двигались – паук сплетал нить.

- Уходите.

Это вырвалось само, не просьба – приказ, и на миг Шута покорило: слишком похоже на гадкие слова чистюли. Но он все же повторил:

– Уходите. Скоро здесь все будет иначе, уже – иначе.

Клюка не ответила. Постояла еще немного, скользнула взглядом по братьям, так и жмущимся позади, повернулась – и действительно ушла. Вместе с Выкорышем.

Вокруг пораженно молчали. Потом наоборот – разом загалдели, засуетились и вытолкнули вперед маленького седого человечка. На груди у него свернулась двумя кольцами бургомистерская цепь, а сам он выпучил глаза и склонил ухо к плечу, словно старался разобрать ее шипение. Бургомистр хлопнул Шута по спине и сказал весело:

– Мы нарежем розы и натопим сахар, будем играть и петь! В нашем городе больше нет... – он запнулся, – нет крыс, и мы должны праздновать!

И они праздновали. Было мясо и вино, цветы и ленты, танцы и драки, рукава, подола, осколки, огрызки, смех, крик – и небо, полное золота и звона небо. Шута подхватила дурманная круговерть: он пил бокал за бокалом, хохотал, рассказывал о музыке, целовал цветочницу – ту, которой играл вчера, а может, другую. В одно мгновение земля заворчала и ушла из-под ног, и крутившиеся рядом дети – только погодки куда-то пропали – наперебой объясняли:

– Это наш великан просыпается!

Когда на ратуше пробило полдень, солнце, которое видели все, уже закатывалось за горизонт, зато второе сияло прямо над головой. Шут вспомнил, что его котомка так и лежит в доме Клюки и, хотя ничего нужного там не оставалось, решил вернуться. Он чувствовал себя счастливым и всемогущим, почти бессмертным, и по дороге, не замедляя шага, подставлял лицо новому свету.

У Клюки в окне горели свечи, но на шум она не откликнулась и выгонять Шута не стала. Тогда он позволил усталости пропитать тело, завалился на скамью и уснул.

Ночью ему снился замок. Коридоры, бессмысленные и бесчисленные, как ходы жука-древоточца. По ним сновали знакомые слуги, заканчивали вечернюю работу: таскали воду на кухню, захлопывали ставни. Из спальни доносился храп Барона – все шло как обычно.

Шут подумал о замковых воротах – и мгновенно оказался перед ними. Створки стояли распахнутыми настезь, но там, где раньше открывался вид на поля, теперь застила взор ослепительная белизна. Как будто мир сжался до размеров замка – только

Шут сейчас точно знал, что все наоборот: это за крепостной стеной начинался мир, а здесь царила пустота.

Стоило назвать ее, хотя бы и в уме, как он ощутил на себе голодное внимание. Вокруг ощерились и вздулись сотни полостей: сколы и выщербины, брошенные конюшни, арки, проходы и комнаты, а в них – рты, носы, животы. Пустота была в каждой вещи, в каждом человеке – даже в нем, в Шуте. И пустота хотела есть – или быть.

Он попытался выйти за ворота, но не смог: не пускала невидимая преграда. Пронзила мысль, что она тут давно – оттого и кони под Бароном всегда упрямылись, сколько их ни хлестали, – и вот, окрепла настолько, что теперь все как в ловушке. По спине пробежал холодок, но Шут вовремя вспомнил, что спит.

От облегчения захотелось рассмеяться. Вместо этого он, радуясь, как мальчишка, обнаруживший, что умеет плавать, несколько раз прошел через стену: в караульную и обратно, и снова – туда-сюда. Стражники смотрели сквозь него, и он не удержался от того, чтобы щелкнуть одного из них по лбу.

Небо между тем стало светлее. Нет, становилось светлее – так же быстро, как разгорается сухой валежник. Это заметили: те, кто еще был на ногах, бросили дела и кружили по двору выкуренными из улья пчелами. Шут прислушался к их жужжанию – отсекая лишнее, вычлняя темы, – и сердце забилося чаще, едва он разобрал настойчивый мотив: жжение.

Тотчас его зрение изменилось, как бывало, когда он играл на флейте. Он увидел, что небо похоже на расколотое яйцо, и солнце растекается, как желток, жидкий и вязкий огонь, и капли его падают вниз, и от них занимается пламя. Летят искры, люди чуют гарь, шарахаются, разбегаются, но в груди каждого – вечно пьяного казначея, судомойки с толстыми щиколотками, прыщавого герольда – уже трепещет робкий огонек. Музыка пришла: позвать, вывести, разрушить все преграды.

Он так долго этого ждал, здесь, среди каменной глухоты, что сперва задохнулся от восторга. Но затем охолонул, смутился: что-то было не так. Музыка не звучала – там, где никто не желал слышать, она и не могла прозвучать. Она явилась необлаченная, и чистый свет жег тех, кто к нему не привык. Шут потянулся за флейтой – он должен помочь, сыграть, – но снова, на этот раз с ужасом, вспомнил, что просто спит.

Крича и хватая за руки всех встречных, он кинулся в замок, хотя никто не обращал на него внимания и пальцы его, не касаясь, проходили через

их плоть. Вокруг и внутри каждого бушевал невиданный и невидимый пожар, от которого некуда было деться. Кто-то разрывал на себе одежду и ногтями раздирал тело, кто-то по-собачьи полз на четвереньках и выл. А рядом по-прежнему стерегла пустота. Шут смотрел, как люди бросаются к ней – в окна и лестничные пролеты, в отчаяние и ненависть, – сдаются со всеми потрохами, и музыка, скорбя, принимает их выбор, освобождает, отпускает в ничто. А пустота лопают, сколько дают, и чавкает, и растет.

Он сам не заметил, как очутился у спальни Барона. Из-под двери доносилось урчание и хлюпанье, словно кто-то обгладывал и обсасывал куриную косточку. Шут заставил себя войти и сразу пожалел об этом: комната превратилась в подобие гнезда, свитого из обломков и обрывков, а прямо в середине восседал птенец – то, что раньше звалось Бароном. В нем всегда обильно текла жизнь, пусть и звериная, слепая, и пустота не заглотила такую добычу целиком, но выела изнутри и нацепила как платье с кое-где торчащей красной подкладкой. Глазами Барона – теперь у нее имелись глаза – пустота взглянула на Шута, так, будто наверняка знала, что он здесь. Он попятился, споткнулся, упал – и тут перед ним щитом вспыхнул огонь. Музыка пришла спасти, но страшнее спасения не было вещи на свете, и Шут, испуганный, терзаемый виной, спрятал лицо.

Он проснулся в холодном поту, дрожа так, что лязгали зубы. И тогда музыка оставила его.

## 5.

Чем румянее яблоко, тем отвратительнее оно гниет, и чем вкуснее варенье, тем опаснее его порча. Едва потянет миндалем или сладость вишни разбавит горчинка от косточек – перестояло, все труды насмарку. И съесть нельзя, и выбросить жалко – ходи да облизывайся, да сетуй, что времени тебе не поворотить.

Старуху не покидало чувство, что она опаздывает. Когда слушает сбивчивые рассказы о цветах и птицах, под звуки флейты возникающих прямо из воздуха, когда шугает и давит лезущих под ноги крыс, а после топчется среди зевак на обочине, когда спускает пришлецу его нахальство, когда прогоняет от дома крылатые тени, даже когда говорит с часовщиком. Непредвиденное навалилось на нее скопом, жалило со всех сторон, раздиргивало. Старухе только и оставалось, что по ночам напрасно тратить свечи, назло непонятно кому пренебрегая светом, который светит во тьме.

В первый же день она поняла, что о втором солнце лучше помалкивать: кроме нее, никто его не видел, разве что в сумерках некоторые начинали щуриться ни с того ни с сего. Конечно, был еще этот шут – хотя, поинтересуйся кто у Старухи, она назвала бы его настоящим дураком, – но не открывничать же с тем, кто слушает только ветер и вообще ведет себя как человек, прыгнувший со скалы и принимающий падение за полет.

Зато, сам того не зная, ей неожиданно помог скорняк, известный любитель небылиц. Легенду о великане он с вечера в собрании вытвердил наизусть и так всем надоел, что в конце концов даже Старуха обратила на него внимание – и теперь, когда началась свистопляска, ухватила за слова зачина: «...небо ласкало море жаром двух солнц». Объяснять это ничего не объясняло, но ей казалось, будто она разоблачила многолетний обман.

Этим утром, толком и не ложившись, продремав на стуле едва ли с час, Старуха подскочила от мысли, что все проспала. На самом деле едва рассвело – по-честному рассвело, без всяких там чудес, хотя горизонт тлел куда ни кинь взгляд, словно далекий огонь брал город в кольцо. Старуха постояла на крыльце, подозрительно осматриваясь, прислушиваясь и приняхиваясь, потом вернулась в комнату и попыталась съесть ломоть хлеба, но кусок не лез в горло. Отчего-то у нее сильно зачесалась ладонь, и, чтобы отвлечься, она принялась мерить шагами коридор, несколько раз останавливалась у двери шута и прикладывала к ней ухо.

Дом тоже страдал от зуда: стены мелко дрожали, и тихий скрип напоминал не то повизгивание, не то хихиканье. Должно быть, частые подземные толчки за последнее время расщекотали ему брюхо и расшатали остов: пол теперь кое-где опасно проседал, а наружные клетушки все перекособочились, будто их ломали изнутри. Двери также закрывались неплотно, и Старуха, не удержавшись, прикинула к щели. Но ничего интересного ей подглядеть не удалось: шут скорчился на скамье спиной ко входу, втянул голову в плечи и поджал колени – наверное, мерз, пока спал. Котомки видно не было, она валялась в другом углу – Старуха помнила. Тут ладонь у нее засвербела совсем нестерпимо, пальцы сами вцепились в ручку...

– Горячо.

Старуха подпрыгнула от неожиданности.

Выкормыш подкрался ближе, уставился на нее не мигая.

– Фу ты, напугал. Чего тебе?

Он ткнул себя в грудь и повторил:

– Горячо.  
Потом показал на дверь:

– Дудка.  
Старуха снисходительно потрепала его по волосам, сморщилась, нащупав колтун с запутавшейся в нем веткой.

– Не бойся, больше я не дам ему играть.  
Выкормыш мотнул головой, окрысился:

– Горячо. Дудка.

– Чего заладил одно и то же! – Ее вдруг охватило раздражение. – Хлеб-то небось уже подъял без спросу.

Странная требовательная гримаса исчезла с его лица, взгляд сделался сторожким, как у полуголодного зверька, крылья носа затрепетали, и Выкормыш тенью скользнул куда-то вглубь дома – отыскивать еду. Старуха только хмыкнула ему вслед.

Постояв еще немного в коридоре – не проснется ли шут, не послышится ли чего, – она опять вышла на улицу. До восхода второго солнца, по ее подсчетам, оставалось несколько часов, если, конечно, оно подчинялось хоть каким-нибудь правилам, и к этому времени все должно было разрешиться. Старуха злорадно и опасливо посмотрела на небо; наверное, за прошедшие два дня она поднимала к нему глаза чаще, чем за всю остальную жизнь.

Ждать однако ей пришлось долго. Налетел и утих ветер, двенадцать муравьев обогнули камень, похожий на лягушку, на перилах лестницы, перебирая лапками, повис паук. Все двигалось, металось, без указа и без порядка, и Старуха сцепила пальцы в замок, чтобы подавить желание скрести ладонь или барабанить по бедру.

Наконец на дороге показались люди. Приближались торопливо – так ходят, когда мысленно уже у цели, досадуя на медлительность ног. Впереди вышагивал бургомистр: после вчерашнего он как будто распрямился и стал чуточку выше – Старуха даже вгляделась, не привстает ли он специально на цыпочки. Впрочем, это бы не помогло: глава только на словах, бургомистр во всем городе слыл битой балаганной куклой, а сейчас, когда еще издали напустил на себя важный вид, и вовсе разительно напоминал крашенный чурбан. Следом, таща за руку сына, едва поспевал часовщик – этот понимал куда больше, но, хоть и не потрудился сменить кислую мину на озабоченную, проблем не предвещал. Поэтому, мельком приметив судебного стража и десяток увязавшихся зрителей, Старуха сосредоточилась на мальчишке. В кои-то веки без брата – ополовиненный, зареванный, с красными щеками, – он был непредсказуем, как загнанная

в угол крыса. Хорошо, что Старуха умела заставить крыс цепенеть.

Бургомистр остановился прямо у крыльца, шевельнулся, чтобы подняться на первую ступень, но в последний миг передумал и остался внизу. В горле у него забулькало: слова тоже мешкали, толкались, и ни одно не пробилось наружу. Старуха выждала немного – пока подтянутся отставшие, да и так, для острастки, – и решила помочь:

– Что вам надо?

Мальчишка возмущенно засопел, и она зыркнула на него – осаждая, пригвождая к земле. Часовщик покосился на сына и крепче сжал его запястье, так что тот резко втянул воздух сквозь зубы.

– Нам бы... с постояльцем вашим переговорить, – промямлил бургомистр. – Тут такое дело...

– Младшенький-то у мастера пропал! – выкрикнул кто-то.

Это придало бургомистру сил, и, подав знак стражу, он одолел половину лестницы.

– А ну, посторонитесь!

Старуха смерила его взглядом и сказала с издевкой:

– Не больно-то серьезен вопрос, чтобы ваше превосходительство сами беспокоились... – Она, конечно, знала, что любой вопрос, хоть как-то связанный с ней, а уж тем более с ней и чужаком сразу, будоражит всех. Знала и рассчитывала на это. – Но что уж, проходите.

И приглашающе распахнула дверь.

Бургомистр, а чуть погодя и страж зашли внутрь, остальные прянули было за ними, но тут же отхлынули, как волна.

– Сюда тащите! – Чей-то неугомонный голос сочился любопытством, и сейчас это играло Старухе на руку.

В узком коридоре, точно пар в бане, сгустились чужие запахи: кислая капуста, застарелое нездоровье, железо, дым – и выдержанный, забродивший, похожий на простоквашу страх. Комната тоже мгновенно наполнилась духотой и шумом – топотом, скрипом, покашливанием, – но шут даже не повернул головы. Бургомистр несколько раз окликнул его, потом тронул за плечо, потряс. Шут вздрогнул и как-то неловко, боком сел.

– Вы должны нам кое-что объяснить.

Молчание.

– Пропал мальчик. Его отец и брат утверждают, он ушел с вами.

В полутьме Старухе показалось, что шут чересчур внимательно смотрит на губы говорящего.

– Мы хотим знать, что случилось.

По-прежнему ни слова.

– Да скажите же что-нибудь! – Бургомистр отступил назад, всплеснув руками, споткнулся обо что-то и чуть не упал. – Проклятие, здесь ничего не видно! Идемте на улицу.

Страж сграбастал шута под мышки и почти поволок за собой. Старуха задержалась, чтобы подождать котомку.

Пока они были внутри, толпа успела разрастись, и гомон стоял до небес – так могли бы реветь, верещать, гоготать и вопить животные, разъяренные и напуганные тем, что их детенышам грозит опасность. Все звенящее, тонкое, хрупкое, что вчера носилось в воздухе – радость ли, чаяние ли чуда, признательность, – под таким напором растаяло без следа.

Бургомистерская цепь сверкала на солнце, а сам он явно наслаждался ролью судьи, задавал вопросы уверенно, будто кто-то подсказывал ему.

– Когда вы вернулись с праздника?

Шут привалился к косяку, растерянный, жмурящийся, и не раскрывал рта. Вместо него ответила Старуха:

– Только под утро. Я сплю чутко, да и он не таился. Вокруг заволновались:

– А ушел на закате!

– Где вы провели ночь? Куда делся ребенок?

Перестав изображать вытасченного на свет кро-та, шут снова напряженно вглядывался в лица, вот только головой вертел невпопад, как если бы не понимал, кто сейчас говорит. Старуха не сводила с него глаз, но эта странная неловкость, беспомощность, смятение не забавляли ее: она готовилась к спору, почти к войне, и внезапная слабость противника выбила ей почву из-под ног. Так чувствовал бы себя человек, обнаруживший, что распинался перед огородным чучелом.

С непонятным Старуха боролась просто – гнула свою линию до конца, так что теперь с ожесточением, едва не порвав, развязала котомку и вытряхнула из нее все прямо на ступени. Мятое тряпье с налипшими крошками вывалилось жалко и нелепо, вздохнуло, глотнув ветра, и опало комом, точно пристыженное. Шут дернулся, но увесистая рука стража легла ему на плечо.

Часовщик в это время подался вперед и вбок, неожиданно юрко просунулся между балясинами и выудил из кучи тряпок веревку, на которой болтался небольшой плоский камень с дырой.

– Это моего младшего! Никогда не снимал! – Он обернулся к толпе и потряс оберегом над головой.

Бургомистр, ободренный, подхватил:

– Отпираться бессмысленно! Мы уже прочесываем окрестности, но, если вы скажете, где мальчик, всем будет лучше.

Старуха слишком поздно поняла, что допустила ошибку: пока она разгадывала новые чудачества, горе-актер часовщик увлекся ролью и прозевал сына. Мальчишка, едва освободился из отцовской хватки, бросился к шуту и повис на его рукаве, пытаясь не то защитить, не то наоборот – спрятаться. Всхлипнул, но не разнюнился, а закричал:

– Это все не так! – и только в конце пустил петуха.

– А ну... – начал часовщик, но его перебили:

– Нет уж, пусть рассказывает!

– Да, пускай! Они с братом не разлей вода, где один, там и другой, кому и знать-то...

Старуха поймала взгляд мальчишки и прищурилась, напоминая о вчерашнем уговоре: о двух ссудах, которые она согласилась простить, и о брошенном камне, за который не взяла ни монеты, – потом кивнула и велела:

– Рассказывай.

Мальчишка подрастерял пыл: с глупым видом открыл рот, выдал что-то нечленораздельное, закусил губу. Вдруг его лицо просветлело:

– Ты же говорил... управа... – Он задрал голову и смотрел на шута с мольбой и надеждой. – Ты говорил же...

Старуха замерла. Она чувствовала: все висит на волоске и ничего больше нельзя сделать. Издай шут хотя бы звук, скажи хоть одно слово – ему поверят, потому что ему хотят верить.

Но он молчал. И прятал глаза.

Наконец мальчишка отступил, обескураженный и подавленный. Бургомистр попытался загородить ему путь:

– Так что все-таки произошло? – но ответил часовщик:

– Мы все уже сказали, ваше превосходительство. Увел он моего младшего с праздника, фокусами сманил, да так больше мы его и не видели.

Ропот нарастал, как рокот под землей. Случайное сборище, ленивую, праздную россыпь, гнев и страх превращали в лавину, и Старухе оставалось только вовремя столкнуть последние камни, чтобы направить обвал в нужное русло.

Дальше все шло как по писаному: никто не запоздал и не пропустил свой выход. Пока возле дома распаялись и спорили, с боковой улочки явился, с трудом отдыхиваясь, алея от жара и лоснясь от испарины, расторопный паренек, служащий то там, то тут на посылках. Запыхался он до того, что двух слов не мог связать и повторял только:

– Нашли... Нашли...

В конце концов из него вытянули подробности. Младший сын часовщика обнаружился в лодочном сарае, возле проточного озера, где недавно утопились крысы, – в зарослях рогоза у берега запутались набухшие серо-коричневые тельца – все равно что срезанные початки. Мальчишку заперли на амбарный замок, а прежде, видно, чем-то опоили: когда его вытащили из кучи пеньковой пакли, он даже не проснулся до конца, бормотал что-то, чмокая и пуская пузыри, и все норовил завалиться на бок, а запах смолы, с весны пропитавший сарай, мешался с вонью от рвоты (тут часовщик встревожился по-настоящему и сжал кулаки). Впрочем, лекарь после осмотра сказал, что беспокоиться не о чем: не считая пары блеклых синяков, мальчик цел, пусть теперь только отоспится.

Рассказчика постоянно перебивали, зато, стоило ему закончить, как все будто языки проглотили. Старуха покосилась на одного, на другого, прочитала горло – в нем вдруг запершило так, что слезы наворачивались, – и наконец просипела:

– Мы не можем... спустить это с рук. Так ведь, господин бургомистр?

Тот кивнул:

– Да-да, конечно...

– Но, думаю, не надо наказывать нашего гостя слишком сильно. Ведь это не совсем его вина.

Кажется, сделалось еще тише, и на нее воззрились как на болтающую рыбу.

– Разве не он сказал, что это музыка увела крыс? Разве не один ее отзвук приворожил наших детей? Уже завтра она грянет и оглушит нас всех, но пока мы еще способны слышать и видеть. Нам *следует* бояться странностей, не то на чужой праздник мы попадем как кур в ошип.

Поднялся одобрителный гул.

– Эта музыка не желает звучать в положенное время и в отведенном месте. Она подстерегает нас, когда мы витаем в облаках, когда забываем о бремени и долге, когда готовы отбросить осторожность и расчет. Да, ей не нужна скрипка, вместо струн она вытянет нам все жилы.

Гул стал недоуменным.

– Музыка – это факел, зажженный для мотыльков, и одни глупцы летят на ее свет. Так давайте завяжем глаза и заткнем уши, а завтра не покажем и носа из наших домов!

Старуха перевела дыхание и посмотрела на шута: против воли она ждала, нет – хотела, чтобы он возразил. Но он лишь глянул на нее, точно ударил: резко, с оттяжкой, дрогнув всем телом от ненависти.

Это было настолько неправильно, что Старуха отшатнулась и вместо того, чтобы приказать стражу, попросила:

– Заберите, пожалуйста, флейту.

Тот тряхнул шута за воротник:

– Давай сюда.

Шут напрягся, глаза его забегали, но он как будто никак не мог взять в толк, чего от него добиваются. И тут Старуху осенило:

– Да он же не слышит! Он оглох!

Толпа отпрянула, как от прокаженного. Заламывая руки, соскочил с крыльца и заблеял бургомистр:

– Мы завяжем глаза и заткнем уши, будем сидеть по домам... В нашем городе больше никакой музыки...

Старуха отмахнулась. Подойдя к шуту вплотную, она дернула его за мочку, повторила чеканно:

– О-глох.

И после расхохоталась.

Наверное, он прочел-таки по губам, потому что растерянность и непонимание на его лице, в которое Старуха только теперь взгляделась (и вовсе даже заурядная рожа, а казалось-то, казалось: выскерк, порыв, шквал), сменила злоба, тоже заурядная, не раз надувавшая щеки просителей и должников. Такую злобу всегда щедро разбавлял страх, а где страх – там слабость, так что Старуха легко предупредила движение шута – ударить он собирался или просто оттолкнуть? – и запустила руку ему за пазуху. Флейта сама легла в ладонь, и в этот миг зуд, донимавший Старуху все утро, надоевший ей хуже зубной боли, прекратился.

Она отошла в сторону, чувствуя одновременно удовлетворение, усталость и почему-то тошноту, как при виде раздавленного телегой голубя. Шута между тем самые смелые и прыткие уже стащили с лестницы и вытолкнули на дорогу. Старуха не сомневалась, что его будут гнать тычками и пинками – так, чтобы и глухой сообразил, – до городских стен и после вышвырнут за ворота, но это не было победой. С горизонта, вобрав в себя разлитый по небу огонь, невозмутимо и нагло паялилось огромное, как гора, второе солнце.

В дом тоже проникали лучи. В угловой комнате с так и не заделанным окном они протянулись поперек прохода желтыми струнами, даром что не звенели. Старуха бочком протиснулась к столу, села и положила перед собой флейту. Кусок дерева, похожий на шестиротую глотку, вел себя смиренно, но рядом с ним Старуху не покидало ощущение чужого присутствия, настырного взгляда, и она упрямо смотрела в ответ, на скол возле одного из отверстий, хотя голова у нее шла кругом, и комна-

та кружилась, и теплый воздух дрожал и сгущался, сворачивался, забивая нос и уши комками слипшихся запахов-звуков, и грудь наполнялась душистой – мята, чабрец, розмарин – тишиной, которая шум превращала в ритм и рождала вздох, или крик, или песню... Старуха уже разомкнула губы, но тут горло ей сдавило, точно петлей, и вместо напева, вместо хотя бы свиста вырвался только сухой, шершавый кашель.

Отдышавшись, она засунула флейту в набитый рваньем сундук и толкнула дверь в каморку напротив – там провел последние ночи шут, – да так и остановилась на пороге. Не считая этого странного приступа, все складывалось даже чересчур хорошо: денег было жаль, но без двух списанных долгов часовщик никогда бы не согласился опоить сына и оговорить пришлеца. Конечно, проведай Старуха о глухоте заранее, еще поторговалась бы, но покоя ей не давало другое. Задуманное получилось слишком просто: сама она так легко сдавалась, лишь когда готовила дураку ловушку, и теперь в свой черед опасалась в погоне за приманкой упустить ловца. Музыка – а Старуха тоже могла кое-что порассказать о том, что шут звал музыкой, – не знала меры: являлась, когда не ждали, чтобы собрать то, что не рассыпала, – а значит, следовало быть начеку.

Она отступила в коридор и как можно плотнее закрыла за собой дверь. Вернулась в комнату с сундуком – и вовремя: в нем уже рылся – когда только успел проскочить! – Выкормыш. Турнув его и выслушав навязшее в зубах «Горячо! Дудка!», Старуха перепрятала флейту в тайник под половицей и вышла из дома. Ее подмывало куда-то бежать, что-то делать, и снова казалось, что она безнадежно опаздывает.

Дорога вела вверх, улицы ветвились, и Старуха не брела – карабкалась: развилка, другая – и вдруг земля ухнула, закачалась, стряхивая ее, точно сухой лист. Она упала на колени, вцепилась в пучок жухлой травы и выдернула его с корнем, от второго толчка повалилась на живот, заскребла ногтями по колее, выворачивая мелкие камешки. Губы ей облепила пыль, в носу шекотало так, что вот-вот чихнешь, а рядом кто-то кричал, и катились, прыгали, стучали, чмокали гнилыми боками рассыпавшиеся яблоки. Одно ткнулось Старухе в плечо, и, отбрасывая его, она перемазала пальцы в липком пахучем соке.

Все закончилось так же резко, как началось, будто и впрямь великан-под-холмом всхрапнул, раздувая ноздри, и опять задышал ровно и тихо. Зато всполошился город: до этой безумной недели

его не колотило настолько сильно, что всегда надежная твердь зыбилась и ходила ходуном. Где-то ржали и били копытами лошади, квохтали куры, а из-за поворота тянуло горелым и доносилось отчаянное: «Еще воды! Ну шевелитесь же, гады!» Старуха поднялась, отряхнулась – на перепачканную ладонь только налипло больше грязи – и, подволакивая ногу, заковыляла в другую сторону. За эту боль, и испуг, и беспомощность ей нестерпимо хотелось сорвать на ком-нибудь злость.

Случай скоро представился. На пустыре от сгоревших прошлой весной домов – поговаривали, хозяин одного сам свой и поджег, не то из-за долгов, не то подвыпив, поэтому пожарище теперь считалось дурным местом, – Старуха увидела знакомую фигуру в лохмотьях. Глухонемого побирушку, похоже, взбрыкнувшая земля не волновала вовсе: он притаился у обломанной балки, которую вычернил огонь и оплел зеленью вездесущий вьюнок, и кого-то выслеживал. Старуха, не церемонясь, сзади ухватила его за волосы и развернула к себе – тот обиженно замычал. Она уже раздумывала, какую бы штуку заставить его вытворить, чтобы и погнусней, и позабавней, когда случайно наткнулась на знакомый взгляд: ищущий, требовательный. Так сегодня смотрел Выкормыш – «Горячо! Дудка!» – и так, конечно, не мог смотреть вечно подобострастный, бесстыжий, скользкий и стертый, как обмылок, побирушка. Не мог – но смотрел.

Пока она мешкала, он высвободился, уклонился и в два прыжка оказался у нее за спиной. Старуха обернулась – и лишь тогда поняла, за кем, или чем, он следил. По плешивым зарослям кипрея, мимо забывающего о себе самом пепелища плыла большая непарная тень, на этот раз не змеерыба, а скорее птица с человеческой головой. Побирушка нагнал ее, почти ступил на крыло, но в последний миг поугриному извернулся и остался на свету, покачиваясь, и царапая грудь, и тихонечко поднывая, будто возле большого костра, когда и к теплу хочется, и от жара не продохнуть. Тень теперь кружила рядом: то ли охотилась, то ли подбадривала. Медленно, обходя ямы и кочки, Старуха приблизилась. Возле дома она шугала тени, словно мальков на мелководье: стоило топнуть или кинуть камень, как они прыскали в разные стороны, – правда, потом частенько возвращались, резвясь ли, дразнясь ли. Но *эта* была слишком крупной, она не играла и не боялась, так что Старуха стиснула зубы, вытерла руку о щеку побирушки, оттолкнула его и с бешенством впечатала ботинок в лужицу, накрытую кончиками призрачных перьев.

...Казалось, ее затягивает на глубину. Не сходя с места, она ухнула в невесть откуда взявшуюся прореху – так на смятом рисунке дороги начинают бугриться и на сгибах раскрываются не видимые до того трещины. В ушах стучало, заканчивался воздух, а вокруг густела волглая синь, и сквозь нее глядело, отдаляясь, но вырастая, существо с крыльями орла и головой юноши, и глаза его горели, как два солнца.

Она падала, кувыркалась – и вот, синь выцвела, выпарилась, и все заволокло дымом. Среди клубов метались люди, вроде бы знакомые, с кадушками и ведрами, – нет, это качались от ветра молодые лиственницы, чьи семена сейчас спали под кипреем, в рыхлой от золы почве. Картинка троилась, грудь распирало, но после вдоха стало только хуже: горечь жгла ноздри, губы, язык и горло – до слез.

Наконец она опустилась на дно. Не просто опустилась – прилипла к нему всем телом, которое вдруг перестало слушаться и сделалось легким и плоским, похожим на серую кисею. Мысли тоже истончились; вместо испуга или удивления зудел один вопрос: как быть, если опять зачесется рука? Впрочем, и это беспокоило недолго: вспыхнул свет, разгоняя марево, заставляя щуриться и съезживаться, и она почувствовала, как что-то тащит ее за ноги – вытягивает по земле, ломает на ступенях – и распластывает на щербатых досках.

...Ей недавно исполнилось десять, ее пока не звали Старухой, и лишь тень ее помнила годы, что предстоит прожить.

– Бьюсь об заклад, не стрельнешь.

– Еще как стрельну.

Соседский мальчишка-водонос изводил ее подначками, у калитки родители о чем-то спорили с ростовщиком – его капюшон съехал так, что залысины блестели на солнце, – а у нее была тростниковая трубка, мешочек, полный сухого гороха, и храбрость, которой хватило бы на десятерых. Р-раз – горошина попала точно в лакомую, будто нарочно подсвеченную цель. Скандал разразился знатный.

На чердаке, где ее заперли, она времени зря не теряла: через слуховое окно выбралась на крышу, проползла по краю к разлапистой сливе, дотянулась до ветки – и едва удержалась, когда из цветка вылетел жирный хрущ. Повисла на руках, раскачиваясь и суча ногами, пока те не нащупали опору, и скоро уже спрыгнула за частоколом, свободная и злая, как оса. Из головы не шли причитания ростовщика – визглив, что твой подесвинок, а все, гляди ж ты, заискивают, – и стук гороха, просыпанного на пол. Обидно: такие снаряды потом поди раздобудь.

В городе нити весенних запахов сплетались с парами выгребных ям, но за воротами ветер вмиг распустил всю канву. Свежесть плеснула в лицо, смыла стыд и досаду – и мир стал ярче, громче: шелестели блики на озере, остающемся позади, пестрел гомоном птиц близкий лес. Дорога петляла в привычном ритме: направо, налево, направо, обогнуть упавшее дерево, опять направо; за орешником – ельник, дальше поляна и березняк.

Она не заметила, когда сошла с проторенной тропы, а погода начала портиться. Просто воздух потемнел, напитался лиловым и серым, словно настой чабреца (в нос вдруг ударила пряная горечь, хотя до цветения оставалось с полмесяца). Затем – резко, без предупреждающей дроби – сквозь листья обрушился поток, и она тотчас продрогла до костей. От холода и грохота хотелось зажать уши и плакать, и неизвестно было, когда ее хватят, тем более – когда найдут.

А потом впереди мелькнул свет. Оскальзываясь, она протиснулась меж стволов к незнакомой, почти затопленной просеке. В тучах здесь тоже зияла прогалина, но дождь все равно падал с высоты, а в тридцати шагах, прямо на воде, пылал костер, и капли роились над ним, точно стрекозы в полдень. Рокотнул гром, как-то радушно, по-кошачьи, и она расслышала – пусть и едва-едва, – что кто-то окликнул ее по имени.

Колени тряслись, во рту пересохло, а тело охватил такой жар, что мокрое платье липло компрессом, – но она пошла: не думая, куда ступает, по воде, и та держала ее и качала, как мать – младенца в ладонях. А еще вода пела, или, может, это перебирал натянутые в воздухе струи ветер, или гудела земля, или баюкал колыбельным теплом огонь. С каждым шагом мелодия звучала громче, звала летать, гореть, не сгорая, дышать подо льдом, и костер отражался в небе, и быстрее колотилось сердце.

Полпути осталось за спиной, когда вокруг затанцевал вихрь. Она споткнулась, глянула вниз и вдруг испугалась, что сейчас провалится, утонет. Разом вспомнилось, что ей холодно, больно, одиноко и она не умеет не то что летать – даже прыгать, как белка. В тот же миг музыка стихла, свет померк. Она потеряла равновесие и плюхнулась в мелкую грязную лужу.

Там ее и накрыла ее же тень.

...Гордость твердила, что до конца не дошел бы никто, но внутри будто что-то порвалось. Сперва крохотная, дыра ширилась, засасывала память и мечты, смех и слезы, и даже детское имя, которое и вообразить нельзя было иным, скукожилось, ка-

нуло в пустоту. Все, что раньше сияло и звенело, покрыл плесенью страх, и самый звук его пророс сквозь естество.

Страх. Стар. Старуха.

С тех пор ее влекло лишь то, что превращало чудо в глупость, а слабость – в благоразумие: власть, которая писклявого ростовщика делает солидным и желанным, молчание в ответ на песню, звериное безмыслие и каменная глухота. Она выбрала это раз, другой, третий – а затем то, чем она стала, выбирало само. И небо, чей взгляд иногда жег затылок, в конце концов отвернулось, забыло о ней.

Старуха очнулась и поняла, что простояла столбом до вечера. Не оборачиваясь, ни о чем не думая, она заторопилась домой, и только полумертвое прошлое внутри жалело, что она прокисла, как варенье, и времени уже не поворотить.

## 6.

Затишье дожевало смокву дня, но лакричная ночь обещала тянуться не меньше. Шут сидел на обочине, его мутило от духа тухлятины, впитавшегося в одежду, и сладкого привкуса во рту. Ничего не происходило.

Казалось, все длится мерзкий насланный бред. Пожар, о котором шипела та ведьма, Клюка, перекинулся с замка на город – толпа сбесилась, точно конь с тлеющей головней под хвостом. И люди стали не люди – образины: с рылами вместо лиц, кривляющиеся и глумливые, они кидали камни, лили помои, толкали, пинали, еще немного – и отрастят клыки и когти, задерут. А кругом и внутри – немота. Сытая, непобедимая.

...Как жутко опять не слышать не слышать не слышать не слышать... Стоп. Нельзя.

Шут прикусил губу до крови.

Не надо было возвращаться в тот дом. Глупец – сам сунулся в ловушку: до чего, наверное, веселилась треклятая Клюка, когда он заявился под вечер. Но как ей удалось: проникнуть в его сон, обратить тот в кошмар, залить уши невидимым воском – в такое верят лишь те, кто в жизни носа за околицу не казал.

...А если она ни при чем и это случилось вразвуду если замок сгорел если музыка... Нет. Нельзя.

Шута все-таки вырвало – желчью. Уже сутки он ничего не ел.

Переждав приступ слабости, он встал и побрел вдоль колеи – найти ручей или на худой конец канаву, чтобы прополоскать рот. Ныли ушибы, саднили порезы, а под костюм сквозь дыры лез насекомый

холодок, и от его легких, быстрых касаний, словно от предчувствия щекотки, по спине бежали мурашки и хотелось втянуть живот. Как назло, осенью повеяло лишь тепер: минувшие два дня, сухие и знойные, дочиста высосали влагу, принесенную дождем. Пыль забивала ноздри и глотку, Шут кашлял, спотыкался, волоча ноги по рытвинам, и дорога в сумерках напоминала белый шершавый язык, который вывалила из пасти большая собака.

Наконец слева он приметил овраг с жидким блеском на дне. Склоны заповил терновник, и, продираясь сквозь него, Шут будто вновь очутился в городе – и в то же время увидел, ощутил его целиком: хваткий, цепкий, колючий. Город защищался, не подпускал к себе никого, а самых настойчивых мучил с тупым, растительным упорством.

...Почему же почему *мы* явилась в такое место или это случайность сорняк нарост его вырвут выжгут... Прочь. Прочь.

Шут опустился на колени и припал к воде. Небо царапали песчинки, он лакал, и отплевывался, и снова лакал.

Давно осталось позади озеро, из которого черпаками, привязанными к жердям, вылавливали тушки крыс – те, что не смыло течением. Над берегом пахло пометом, гнилью и чем-то вроде женого сахара, люди хмурились, заматывали платками лица, и, казалось, даже мысль о нетронутых запасах пропитывалась тошнотворной сладостью.

...Какая гадость глупость но ведь не знал не думал зачем *мы* позволила... Прости.

Едва дыша от немочи, он выполз из оврага и лег подле него на траве.

Путь в город был заказан, возвращение в замок пугало еще сильнее. Шуту доводилось бояться и раньше – неверной ноты, напрасной боли, печали радующихся, пустоты, – только сейчас другой, постыдный страх отравлял воспоминание о последнем сне. О том, как чужая слабость обернулась общей виной – потому что он, Шут, сбежал.

...Если это случилось вразвуду если... Хватит.

Его тряс озноб.

Совсем стемнело: первое солнце скрылось, второе не взошло, и глаза, отвыкшие от скряги-ночи, жадно глотали редкие капли света – или, может, грезили о них наяву, как в пустыне о роднике. Не звезды, не гнилушки – свечи: одна, другая, третья, у поворота, за лугом, меж кустов, парой и наособицу, мелькнули, и исчезли, и снова замерцали вдали. Приблизилась. Похоронный ход.

Все они были здесь: герольд, привратник, повара, конюхи, постельничий, казначей, лакеи,

судомойки, приживалы – и прочие, прочие, неразличимые, безмянные. Шли вереницей, не колебля воздуха, дрожа вместе с неверными огнями, текуче и безоглядно – мимо. Вслед за пешими задом наперед ехали распряженные дроги – оглобли тащились по земле, – а сверху громоздилось что-то рыхлое и тряское, накрытое белой тканью. Шут почти уверился, что это останки Барона, как вдруг саван слетел, зацепившись краем за бурьян. На дрогах не лежало ничего.

Чтобы забыться, Шут смежил веки, но морок, словно корень марены, окрасил черноту в свои цвета. Метались желтые точки, ширились красные круги с молочными сердцевинами, горчичными прожилками, и парная густота на языке мешалась с зернистым пламенем. Волоски на шее вставляли дыбом, сквозь грудь будто струилось что-то, от чего все тело дрожало, как струна. Потом закружилась голова: он падал, нет, летел – и видел, чуял, кожей чувствовал звуки.

Шум нарастал, обвивался плющом, и скоро вызрел холодный, узловатый, кислый до судороги в челюстях вопрос: кто мертвое сделает живым? Кончики пальцев пронзил писк, в горло потоком хлынул плеск – Шут выгнулся, задыхаясь. Тут же вспыхнуло, ослепляя, иное: кто разглядит человека? Гладкие переливы, режущий скрип. Разрыв. По затылку прокатился звон, под ложечкой засосало, и пропахший яблоками и дымом ветер напоследок бросил в лицо: кто повернет время вспять?

...Не могу не могу невозможное людям...

Шут несколько раз сглотнул. Слюна горчила.

Остаток ночи в темноте и тишине он заново открывал в памяти мир, когда-то знакомый до малейшей выемки, до легчайшего запаха, и старые, стертые впечатления подступали ближе и ближе. После того как он, семилетний, упал с обрыва и, чудом выплыв из студеной реки, приплелся домой, с неделю в деревне ждали его смерти. Она и впрямь бдела рядом: топталась в сенах, стояла в углу, нависала над изголовьем. Было горячо, сально, прогоркло, как будто он стал масляной лампой, у которой выкрутили фитиль, а не то – короткой лучиной: жар выпивал, поедая его, и он полыхал, и чадил, и знал, что вот-вот потухнет. Все, кроме смерти, отводили слезящиеся глаза, а она смотрела не мигая, прикасалась – ровно желала согреться. Но еще являлось другое: гулкое, гудкое – сейчас Шут подобрал слова. Тогда же ему казалось, что сквозь череп, от уха к уху, льется вода, что в груди, как в просторной комнате, гуляет сквозняк, что там вылупилась и бьет крыльями птица, и, когда она разевает клюв,

вода бурлит, – и он тоже раскрывал рот и тряс головой, боясь захлебнуться, но наружу – толчками – прорывалось одно клокотание. Смерти это не нравилось: она отдергивала руку, съезживалась, пятилась.

Когда мать поняла, что дело идет на поправку, то наконец глянула на него прямо и ясно – и наглухо замкнула для всех двери. Ему же, наоборот, страшно хотелось, чтобы его навешали, или того лучше – самому выйти на улицу. Каждый предмет, каждого человека теперь, словно склянки городского лекаря, пронизывал новый свет, так, что снадобье внутри сыпало цветными искрами. Еще заманчивей было распробовать вкус – или что-то вроде: если напрягать и расслаблять горло, шевелить непослушным языком, выгибая его, приставляя к зубам, во рту перекатывались те же капли, что сверкали буквально всюду. У-у-у – лучилось, гудело в печной трубе, округлялись губы; ша-ша-ша – шаркали шаги, воздух шипел сквозь щель. Мать подходила, гладила его по щекам, целовала уши, но глаза ее выжигала чернота, а подбородок оплыл и трясся, как забитый зуб у цыпленка.

К несчастью, таиться вечно не получилось: месяца через полтора даже последняя собака пронюхала, что глухой, избегнувший верной смерти, вдобавок слышит и говорит. На самом деле, конечно, слова поначалу давались ему с трудом. Речь текла мимо, бурная, широкая, поднималась, как в паводок, плескала у губ – и тут же отступала, унося редкие крупинцы смысла. Если бы не имя – его имя, до сих пор звенящее в голове, солнцем просвечивающее глубины, – он бы, наверное, так и ловил одни отблески-отзвуки, не умея выделить и выстроить, не в силах понять и сказать. Впрочем, тем, кто тарашился на него, как на зверя, показывал пальцем, и первых косноязычных проб хватало с лихвой. Холодное любопытство, лязгавшее в голосах, ржой источила враждебность; все чаще ему сплевывали вслед: «подмена», «волшба», «лесной народ» (только вспомнив об этом, Шут оценил иронию: то же самое болтали о Ключе). А он тянулся к людям, вторил им старательно и неловко – пока однажды ватага ребят чуть постарше не отстегала его крапивой: считалось, это надежный способ разоблачить чужака.

Комедианты, пробиравшиеся на юг, привезли с собой погремушки из свинных пузырей, летнее пекло, маски, ручного медведя в клетке, смех и крики, деревянные мечи, кукол – и музыку. Когда они пилили плаксивый гудок или бухали в барабаны, зажимали под мышкой волынки, похожие на толстых

гусей, или вместе с флейтой тосковали о дальнем, из мыслей испарялась обида и забывались угольные, незнакомые, все еще ласковые глаза.

Он сбежал. Опять или впервые, из замка, из города, из деревни – что случилось сначала, а что потом, Шут теперь не знал и сам. Бегство множилось, точно эхо, откликалось со всех сторон, в прошлом, в будущем, а когда было сказано слово – никто бы не разобрал.

Утром он проснулся оттого, что его трясли за плечо. Шут не сразу сообразил, где находится, на миг ему показалось, будто он снова в доме Ключки, а сверху навис бургомистр, только почему-то с непропорционально большой головой, как у марионетки. Сердце прыгнуло в горло, но тут голова отдалилась, перед глазами качнулась былинка, и все встало на места: изгнание, дорога, ночь на голой земле – все, кроме сидящего рядом человека с курчавой бородой и в соломенной шляпе. Шут приподнялся на локте – ноги затекли, спина ныла – и сквозь сумерки настороженно вгляделся в смутно знакомое, перемазанное черным лицо. Пахло как на рыбном ряду: тиной и дымом.

Человек что-то говорил, взволнованно, быстро, запинаясь, разбрызгивал слюну, утирался тыльной стороной ладони и вновь говорил, а неподалеку щипала траву пегая лошаденка, до того хилая, что сквозь кожу виднелась трещотка ребер. Эту-то клячу, удивительно живучую, таскавшую в замок телегу с серебристыми, шлепающими карпами, Шут вспомнил первой. Ее хозяин – рыбак из захудалого поселка – раз в неделю поставлял на кухню свежий улов, а значит, еще вчера должен был опорожнить бадьи и вернуться домой. Что же тогда он делал здесь: вострапанный, встревоженный, взмыленный не меньше своей потерявшей воз доходяги? Шут незаметно вытер потные, липкие пальцы, открыл рот – но понял, что ничего не спросит: как и тогда, в городе, слова, на которых не осталось и клочка звуков, застряли в глотке, будто кость.

С горем пополам, жестами он принялся объяснять, что не слышит. Рыбак сначала не понимал, глядел тупо, затем сморщился – то ли не веря, от обиды за глупую выходку, то ли, напротив, от жалости, – пожевал губами и поднялся, махнув рукой. Шут вскочил следом и чуть не упал: по телу прошла судорога. До чего некстати: пепел, подпалины на одежде, неуточный час и необычное место для встречи, страх в по-рыбьи блеклых глазах – в город летела дурная весть, и отпустить сейчас гонца значило бы отправить его из огня да в полымя. Как мог быстро Шут доковылял до середины дороги

и встал, преграждая путь. Рыбак уже ерзал в самодельном седле. Шут замотал головой и, когда тот приготовился ударить пятками по лошадиным бокам, все-таки выдавил, или выкрикнул, или выхрипел:

– Стой. Там... пожар.

Он не знал, как прозвучало его предупреждение, не знал, как выглядит со стороны, но рыбак вздрогнул, а кляча шарахнулась прочь. На вид изможденная, она прынула так, что скоро вместе с всадником исчезла за поворотом. Шут снова остался один.

Между тем разгорался день: отсыревший за ночь, он не грел, чадил, укрывая ложбины туманом, наконец затлел по краям и осветил небо ровно и тускло – этот невыносимый день, звеняще тихий, как его, Шута, свобода. Когда-то в замке музыка рассыпалась на звуки, теперь она и вовсе умалилась до тишины, уступила, оставила его – чтобы он мог улизнуть, или отвернуться, или жить дальше. Сон оказался явью, и вместе с ним – ужас, гибель, торжествующая пустота, а Шут сидел, кутаясь в дырявый костюм, смотрел на золотое поле и чувствовал, что у него подводит живот.

...Я не просил *тебя* о снисхождении я бы сгорел ради *тебя* зачем *ты*... Нет.

Он сорвал какой-то стебель и принялся терзать его зубами.

Как, зачем, почему случилось так, что он, всегда искавший последней, неотменимой встречи, стал единственным, кто ее избежал? Остальные – Барон и прочие, эти крысы, образины – ничего не знали, не ждали, не слушали. Они жевали, не разбирая вкуса, путали дерьмо с жемчугом, храпели по углам, совокуплялись и грызлись друг с другом, копошились, растаскивали заразу, которая опустошала их изнутри. А он ведь пытался, он играл им и пел для них, хотя порой хотелось удавиться.

...Я бы сгорел ради *тебя* но не ради них почему *ты*... Нельзя.

Шут сломал стебель в кулаке.

Нет, они не были крысами – это крысы плодились в каждом из них, точно в городе. Невидимые, ненасытные, они сжирали подчистую посева и запасы – все, что стяжалось упорным трудом, малое и необходимое, как зерно, как разница между образом и образиной. Разве кто-нибудь мог вывести этих крыс? Разве он, Шут, нанимался в крысоловы? – Почему *ты* любила их?

Он не сразу понял, что сказал это вслух. Просто заныли спекшиеся губы.

И тогда Шут вдруг вспомнил – вернее, все это само вспомнилось ему. Как тоже больными, разбиты-

ми мужем в кровь губами судомойка не пела – шептала колыбельную внуку, и в шепоте звучала – музыка, пусть и едва живая среди ворчливых вздохов и слюнявого свиста. Как палач, остервенело секший конюха – под Бароном пала очередная кобыла, – ни с того ни с сего замер и опустил руку просто так, с протяжным «э-эх», в котором вихрем пронеслась – музыка. И так же резко, неожиданно стихла. Как долговязый, долгоносый, долготерпеливый приبلуда стоял у окна, расправив плечи, дрожа, будто натянутая тетива, и взгляд его стрелой летел вдаль, и из глаз его, когда он обернулся, целый миг смотрела – музыка. Наконец, как Барон, любивший за обедом принимать самых жалких, обглоданных голодом просителей, швырнул одному – или в одного? – гнилую луковицу (повар потом клялся, что подложил кто-то из слуг), и из этой луковицы проросла – музыка.

Словно солнечный свет, что заливаает площади и проникает в сараи, словно ветер, что веет в горах и долинах, она дышала, где хотела, приходила неведомо откуда и уходила неведомо куда.

Шут поднялся. Он так долго искал не там, что поиск превратился в побег. Пора было вернуться – в единственное место, где еще не отзвучал финал.

## 7.

В городе, что на Сонном холме, когда день стал равен ночи, очнулся древний дух и родилась от земли...

...И музыка была солнцем.

Старуха загодя ослепила дом. Так она обычно готовилась к зиме: ставни – наглухо, тряпки – в щели. Дело нехитрое, но в этот раз все шло наперекосяк: мало того, что стены и пол вздрагивали от подземного сердцебиения, еще и руки предавали ее. Пока одна запирала замок, другая норовила откинуть щеколду, пока левая ставила на сундук двурогий подсвечник, правая взмахивала подолом, и пламя трепыхалось, и тени пускались в пляс, крылатые, огнеглазые. У Старухи тогда гудело в горле – и она плотнее сжимала губы и отходила подальше от дверей, хороня звук в себе, а себя – в доме.

Весь город – она рассчитывала на это – сегодня должен был затихнуть, как погост, замереть, как люлька с мертвым младенцем.

В комнате под ногами хрупали осколки: из-за тряски разбился принесенный кухаркой до свету кувшин с молоком, и Старуха, убрав приметные черепки, кликнула Вывормыша – пусть вылизет теплые растопыренные лужицы. Спустя час здесь по-преж-

нему пахло младенчески-сладко, а взгляд тут и там наткнулся на белое и блестящее. Такого раньше не случилось – чтобы крысеныш отказался от лишнего глотка или куска, и Старуха забеспокоилась. Не-кстати снова вспомнилось вчерашнее «Горячо! Дудка!», и странное требование на лице, и побирушка, выросший из себя, как из детского платья, – почему, зачем они так смотрели? Старуха высовывала кончик языка, нюхала воздух, шевелила пальцами, пытаясь изловить ответ, но в голове у нее все шире, голоднее распахивалась червоточина, и мысли мельтешили испуганной мошкаркой и одна за другой исчезали. Наконец осталась не догадка даже – холодок по спине: быстрее, проверить флейту. Старуха бросилась к тайнику – и нашла его разоренным.

Дом качался, и ее качало из стороны в сторону, и коридор вставал на дыбы, и обращался печной трубой, и вместе с дымом от погасших свечей выталкивал ее, легкую, словно шелуха, наружу. Но здесь тоже все двинулось с места: камни катились, сбегали с холма, и птицы кричали, и деревья, чьи оголенные корни едва держались за землю, казалось, вот-вот шагнут неловко и длинно, как богомолы. На карачках Старуха ползла вдоль обочины, вокруг густел сумрак, а позади скрипело, трещало, вздыхало и хлопало, и когда она обернулась, то увидела, что дом ее рухнул и над ним стоит пыль столбом, а наверху темно, точно перед грозой, но это не туча – солнце, громадное, как небо, и мрачное, как власьяница.

...И музыка была жаром.

Когда Шут доплелся до городских ворот, наверное, перевалило за полдень. Погода совсем испортилась: в один миг сделалось пасмурно и душно, так что пот со лба лил ручьем. Землю все чаще била дрожь, иногда с трудом получалось устоять на ногах или не споткнуться о вывороченный булыжник. Еще издали стало заметно, что над городом поднимаются дымы, черные и чинные – ни ветерка. У ворот тлел сухостой и, как в замке, разило гарью, от чего у Шута завечерело на сердце. Всю дорогу он тревожился и надеялся, будто в ожидании приговора, но лишь теперь понял, как страстно хочет отступить.

Ведь он по-прежнему – беги не беги, проси не проси – не слышал ни звука, и тишина следовала за ним, как верный пес.

Путь вперед меж тем был свободен: проход никто не охранял, и заготовленные уловки пропали втуне. Шут одолел последний перекресток; торопливо, не оглядываясь, прошел под аркой. Сверху сыпалась каменная крошка, и он вдруг увидел себя на дне огромных песочных часов: время пока сочилось, бе-

лило волосы, лезло в нос пылью, от которой тянуло чихать, только нижний сосуд лопнул, и мгновения сухой струей текли дальше – бесповоротно. От этой картины тело обожгла тоска, и, когда оком наполнила улица с ее горем и грязью, Шут расстрогался до кроткой жалостной мягкости. Люди, как будто больные, насилу вытащенные из постелей, лежали в канавах, прятали глаза, у каждого второго из ушей торчали тряпки – но все это напоминало о чем-то родном и неизбежном. Он кинулся к одному, к другому, чуть не распластался рядом, попробовал помочь толстяку, что барахтался на кромке ямы в задравшемся исподнем, – тот уставился вниз и отпихивался локтем. Опять, как во сне, на Шута не обращали внимания, и он совсем отчаялся, когда кто-то сзади тронул его за плечо.

Глухонемой бедолага – первый, с кем он разделил здесь музыку, – улыбался, и показывал на небо, и гладил свои уши, и что-то говорил, и с каждым его неслышным, но, без сомнения, про-из-не-сен-ным словом у Шута сильнее кружилась голова. Он опустил на колени, потом сел, привалившись к изувеченному частоколу, – мир продолжал опасно шататься, и вот – куда-то делся немой (хотя какой он теперь немой!), и сгинул толстяк, и накренились закрывавшие горизонт сараи. Шут поднял взгляд – но ничего, кроме сплошного темного облака, не различил. Опора за спиной трепетала, как живая, а он все смотрел вверх, и смотрел, и смотрел, и уже почти отвернулся, когда почувствовал, что лицо шупают горячие солнечные пальцы. От их касаний наконец брызнули слезы.

...И музыка была громом.

Старуха решила бежать из города.

Как ни крути, план ее вышел боком, и то, что началось, не мог остановить никто: солнце раскалывали молнии и, словно зеркало, трескалась земля. Тут и там вспыхивали пожары; пятась от них, Старуха с ледяным бешенством сознавала, что, вместо того чтобы двигаться к воротам, забирает ввысь и вглубь. Утром ей удалось – таки согнать всех в норы, но улицы, сперва пустынные, быстро захлестывало безумие: кто-то метался, оголтелый, кто-то валился ниц, кто-то спасал пожитки, кто-то сам, как скарб, прирастал к месту и разве что моргал лупоглазо, вперившись в никуда; кто-то вопил, кто-то хрипел, кто-то молчал и прислушивался – к чему? Старуха не хотела знать. Ей казалось, она единственная осталась в своем уме, единственная рвалась из капкана. А тот не отпускал, и ноги, всегда верные, вдруг изменили ей и зачем-то вынесли к ратуше.

На ступенях сгорбился бургомистр. Он выглядел заволаживающе пристойным, так что Старуха рискнула подойти ближе, хотя башня, где на циферблате дергалась, затихая, никчемная стрелка, нависла под таким углом, будто сама отсчитывала время – уж минул час. Бургомистр не шевелился, Старуха подступила почти вплотную и заметила, что его запястья и лодыжки обвивают куски церемониальных цепей. В нос ударил запах опилок, и, когда она ткнула пальцем в бургомистрову щеку, под ноготь впиалась заноза и раздался глухой деревянный стук.

Стоило ей покинуть площадь, как с неба грянуло. В раскатах слышался голос, грозный, точно звук трубы и шум половодья, но Старуха отказалась внимать словам: после ужаса, *вместе* с ним, к ней возвратилась уверенность в собственной власти. Крашенный чурбан, марионетка – она сама нарекла бургомистра так.

...И музыка была маем.

Шут, словно в калечном детстве, наблюдал за всем со стороны.

Трясти почти перестало, но чем глубже он заходил в город, тем жарче цвела огненная весна: пахло немислимым здесь яблоневым садом, и языки пламени, как раньше тени, стрижами носились вокруг. От них шарахались, и он шарахался, пока один, мелкий и верткий, не влетел голенастому, запутавшемуся в ногах парнишке прямо в рот. У Шута перехватило дыхание – но ничего не произошло: парнишка замер на мгновение, встряхнулся и принялся лепетать что-то, просветлев лицом. Еще погода встретила знакомая девчонка с толстыми, упрямыми губами – на ее предплечье искрилась желтая птица. Шут остановился, девчонка смотрела шало и весело. Подняв брови: можно ли? – он улыбнулся, и присел, и хотел погладить птицу, но тут же отпрянул: горячо. Ладонь покраснела, на коже взбухли мутные пузыри.

Баякая кисть, он шагал и шагал дальше, по склону вверх, и видел, как одни танцуют с огнями, а другие, изъязвленные, пытаются укрыться от них; как птицы, многоокие и многокрылые, порхают, полыхают, роняют перья, и там, где они падают, занимается новое пламя: на воде, на камнях, в воздухе. Выбирать путь становилось все труднее: город раскалялся, будто печь. Шут наконец забрел в глухой, обманчиво длинный тупик – и понял, что не первый угодил в западню.

Пасынок Клюки, Выкормыш, весь обожженный, скорчился в дальнем углу. В руке у него – Шут не поверил своим глазам – была зажата флейта, и белые костяшки скрюченных, как когти, пальцев срав-

нялись по цвету с ее ясным, ясеневым телом. Он потянулся к ней, попробовал осторожно расцепить хват – Выкормыш задрожал. Тогда Шут просто сел рядом, и тот, глянув косо раз, другой, сам выпустил добычу, как собака хозяйский трофей. Шут взял флейту – наконец! – и ощутил тяжесть треснувшего, мокрого от чужого пота куска дерева, с которым больше ничего не мог сделать.

...И музыка была мигом.

Теперь Старуха не бежала – это пламя расступалось перед ней. Она давно замкнула слух и шла, доверяя носу: два сплетенных запаха, мускуса и чабреца, петляли тонкой серо-лиловой нитью. Чтобы не терять их, она порой даже слепляла веки, особенно когда голову морочила рыжина: крылья, цветы, макушки. Как-то мелькнули погодки, резвившиеся с непонятной тварью, – Старуха поспешила отвернуться. Эти двое не принадлежали ей, она искала крысеныша и флейту.

Нюх не подвел: в конце концов она узнала дорогу. За поворотом тянулась вонючая кишка голодного тупика, который прозвали так после нашествия крыс в здешние амбары, – конечно, Выкормыш приполз именно сюда. В проходе горели сваленные в кучу ящики, и Старуха замешкалась, хотя там, где она ступала, огонь гас, будто в пустом горшке. Отчего-то ей вспомнилось, как в такие горшки, из рыжей глины, мать в детстве разливала похлебку, – и в этот миг, меж вдохом и выдохом, одна искра ускользнула от нее.

...И музыка была жизнью.

Шут ужасно хотел пить, но, будь у него вода, до капли отдал бы Выкормышу. Тот совсем изнемог: лежал на боку, не поднимая головы, и только слабо дрыгал конечностями – все равно что околевающий зверь. Не встрепенулся даже, когда рядом вспыхнул сиротливый, жалящий пчелой огонек, и Шут отмахивался за двоих.

Вдруг, среди нестерпимого зноя, мороз продрал по спине. Шут услышал – как мог слышать глухой – звук беззвучных, пустых шагов: кляк-кляк, кляк-кляк. В ушах зазвенело: музыка тоже приблизилась, опалая, – и Выкормыш вцепился ему в большую кисть. Нужен был инструмент – Шут посмотрел на флейту, немую, разбитую, взглянул наверх, но солнце опять скрылось от него. Тогда, стиснув зубы – *я бы сгорел ради тебя*, – он поймал пчелу, впечатал себе в грудь и позволил уязвить сердце.

...И запела костяная трещотка и струны из мягких жил. И он стал тем, кто играет, и тем, на чем играют, и вырос, и умалился. Развернулась, как нотный свиток, раскинулась даль, вся – от детского

плача до смертного стона – в его груди, просторном и гудком зале. Все, что было, и есть, и будет, вступило в хор, и мелодия, прекрасная и страшная, стала ясна целиком, от первого и до последнего звука.

Когда-то он шел по городу, непричастный, теперь город сделался частью него, саднил, словно рана, и ждал исцеления. Он выправил, выпросил, выстрадал – и башня, падавшая неумолимо, как стрелка часов, вернулась к полудню, и с громового неба хлынул нечаянный благодатный дождь. Под ним стояла и мокла спящая востроносая девочка, на которую опиралась кривая, пустая внутри клюка.

Он позвал девочку по имени, и та очнулась, и вместе с ней к нему обернулась смерть. Было жутко, и жалко, и жгуче, но он претерпел до конца.

...И небо на полчаса смолкло.

Она стояла в тупике и второй раз в жизни мокла под одним и тем же, неизвестно откуда льющимся дождем. Впереди, в глухом углу, пылал костер, возле которого хныкал одинокий Выкормыш. Она не помнила, как попала сюда, но знала, что должна забрать мальчишку.

На полпути капли вдруг стали горячими, шипели, ошпаривали, точно жидкое пламя. Она споткнулась, натянула на голову рубаху и почти пустилась бегом: ткань начинала тлеть. От костра шел невыносимый, пугающий до крика жар, и в груди что-то ворочалось, верещало, чем ближе – тем яростнее.

В двух шагах она остановилась, тяжело дыша, не смея моргнуть от страха. Выкормыш отполз, всхлипнул, еще отполз – и ее словно толкнуло вперед. Внутри заревело: *он мой* – она схватила мальчишку на руки; рев приказал: *падай* – под ногами распахнулся провал. Она чудом успела извернуться и вместо бездны кинулась в огонь.

Боли не было: вокруг колыхалось мягкое, ласковое тепло. Выкормыш – нет, уже не Выкормыш, – перестал дрожать, и, пока догорал костер, ожоги на его лице исчезали, а вместе с ними стирались хищные крысиные черты. Перед глазами он вертел, рассматривая, белый камень, и когда она пригляделась, то в шербинах прочла имя.

И тогда музыка стала словом.

